



# ЗВЕЗДА

ДЕТГИЗ · 1949

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

# ЗВЕЗДА

П О В Е С Т И



*Рисунки В. Высоцкого*

*Государственное Издательство Детской Литературы  
Министерства Просвещения РСФСР  
Москва 1949 Ленинград*

Переплет  
И. Фоминой



## Э. КАЗАКЕВИЧ

# ЗВЕЗДА

### *Глава первая*

Дивизия, наступая, углубилась в бескрайные леса, и они поглотили ее.

То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В затерянных среди лесов хуторах завязли санитарные автобусы. На берегах безыменных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота, одна-

одинешенька, все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неувереннее; и, воспользовавшись этим, немцы вышли из-под удара и поспешно убрались на запад.

Противник исчез.

Пехотинцы, даже оставшись без противника, продолжают делать то дело, ради которого существуют: они занимают территорию, отвоеванную у врага. Но нет ничего безотраднее зрелища оторванных от противника разведчиков. словно потеряв смысл существования, они шагают по обочинам дороги, как тела, лишённые души.

Одну такую группу догнал на своей машине командир дивизии полковник Сербиченко. Он медленно вылез из машины и остановился посреди грязной, разбитой дороги, уперев руки в бока и насмешливо улыбаясь.

Разведчики, увидев комдива, остановились.

— Ну что, — спросил он, — потеряли противника, орлы? Где противник? Что он делает?

Он узнал в идущем впереди разведчике лейтенанта Травкина (комдив помнил в лицо всех своих офицеров) и укоризненно покачал головой:

— И ты, Травкин? — И едко продолжал: — Веселая война, нечего сказать, — по деревням шататься да молочко попивать... Так до Германии дойдешь и противника не увидишь с вами. А хорошо бы, а? — спросил он неожиданно весело.

Сидевший в машине начальник штаба дивизии подполковник Галиев устало улыбался, удивляясь неожиданной перемене в настроении полковника. За минуту до этого полковник беспощадно распекал его за нераспорядительность, и Галиев молчал с убитым видом.

Настроение комдива изменилось при виде разведчи-

ков. Полковник Сербиченко начал свою службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведчиках получил он боевое крещение и заслужил георгиевский крест. Разведчики остались его слабостью навсегда. Его сердце играло при виде их зеленых маскхалатов, загорелых лиц и бесшумного шага. Гуськом, друг за дружкой, идут они по обочине дороги, готовые в любое мгновение исчезнуть, раствориться в безмолвии лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек.

Впрочем, упреки комдива были серьезными упреками. Дать противнику уйти, или, как это говорится на торжественном языке воинских уставов, дать ему оторваться, — это для разведчиков крупная неприятность, почти позор.

В словах полковника чувствовалась гнетущая его тревога за судьбу своей дивизии. Он боялся встречи с противником потому, что дивизия была обескровлена, а тылы отстали. И в то же время он хотел встретиться наконец с этим исчезнувшим противником, сцепиться с ним, узнать, чего он хочет, на что способен. Да и, кроме того, пора было просто остановиться, привести людей и хозяйство в порядок. Конечно, не хотелось даже себе самому сознаваться, что его желание противоречит страстному порыву всей страны, но он мечтал, чтобы наступление приостановилось. Таковы тайны ремесла.

А разведчики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Вид у них был довольно жалкий.

— Вот они, твои глаза и уши! — пренебрежительно сказал комдив начальнику штаба и сел в машину.

Автомобиль тронулся.

Разведчики постояли еще минуту, затем Травкин медленно пошел дальше, а за ним тронулись и остальные.

По привычке прислушиваясь к каждому шороху, Травкин думал о своем взводе.

Как и комдив, лейтенант и желал и боялся встречи с противником. Желал потому, что так ему повелевал долг, и потому еще, что дни вынужденного бездействия пагубно отражаются на разведчиках, опутывая их опасной паутиной лени и беспечности. Боялся же потому, что из восемнадцати человек, имевшихся у него в начале наступления, осталось всего двенадцать. Правда, среди них — известный всей дивизии Аниканов, бесстрашный Марченко, лихой Мамочкин и испытанные старые разведчики Бражников и Быков. Остальные были в большинстве вчерашние стрелки, набранные из частей в ходе наступления.

Этим людям пока очень нравится ходить в разведчиках, шагать друг за дружкой маленькими группами, пользуясь свободой, немыслимой в пехотной части. Их окружают почет и уважение. Это, разумеется, не может не льстить им, и они глядят орлами, но каковы они будут в деле — неизвестно.

Теперь Травкин понял, что именно эти причины и заставляли его не торопиться. Его огорчили упреки комдива, тем более что он знал слабость Сербиченко к разведчикам. Зеленые глаза полковника глядели на него хитроватым взглядом старого, опытного разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко, который из разделяющей их дали лет и судеб как бы говорил испытующе: «Ну, посмотрим, каков ты, молодой, против меня, старóго».

Между тем взвод вступил в селение. Это была обычная западноукраинская деревня, разбросанная по-хуторскому. С огромного, в три человеческих роста, креста смотрел на солдат распятый Иисус. Улицы были пустынные, и только лай собак по дворам и едва приметное движение домотканых холщевых занавесок на окнах показывали, что люди, запуганные бандитскими шайками,

внимательно присматриваются к проходящим по деревне солдатам.

Травкин повел свой отряд к одинокому дому на пригорке. Дверь открыла старая бабка. Она отогнала большого пса и неторопливо оглядела солдат глубоко сидящими глазами из-под густых седоватых бровей.

— Здравствуйте, — сказал Травкин. — Мы к вам отдохнуть на часок.

Разведчики вошли вслед за ней в чистую комнату с крашеным полом и множеством икон. Иконы, как солдаты замечали уже не раз в этих краях, были не такие, как в России, — без риз, с конфетно-красивыми личиками святых. Что касается бабки, то она в точности походила на украинских старух из-под Киева или Чернигова, в бесчисленных холщевых юбках, с сухонькими, жилистыми ручками, и отличалась от них только недобрым светом колючих глаз.

Однако, несмотря на свою угрюмую, почти враждебную молчаливость, она подала захожим солдатам свежего хлеба, молока, густого, как сливки, соленых огурцов и полный чугунок картошки. Но все это так угрюмо, с таким недружелюбием, что кусок не лез в горло.

— Вот бандитская мамка! — проворчал один из разведчиков.

Он угадал наполовину. Младший сын старухи действительно пошел по бандитской лесной тропе. Старший же подался в красные партизаны. И в то время как мать бандита враждебно молчала, мать партизана гостеприимно открыла бойцам дверь своей хаты. Подав разведчикам на закуску жареное свиное сало и квас в глиняном кувшине, мать партизана уступила место матери бандита, которая с мрачным видом засела за ткацкий станок, занимавший полкомнаты.



Сержант Иван Аниканов, спокойный человек с широким простоватым лицом и маленькими, великой пронизательности глазками, сказал ей:

— Что же ты молчишь, как немая, бабуся? Села бы с нами, что ли, да рассказала чего-нибудь.

Сержант Мамочкин, сутулый, худой, нервный, насмешливо пробормотал:

— Ну и кавалер же этот Аниканов! Охота ему поболтать со старушкой!..

Травкин, занятый своими мыслями, вышел из дома и остановился возле крыльца. Деревня дремала. По косягу ходили стреноженные крестьянские кони. Было совершенно тихо, как может быть тихо только в деревне после стремительного прохода двух враждующих армий.

— Задумался наш лейтенант,— заговорил Аниканов, когда Травкин вышел. — Как сказывал комдив? Веселая война? По деревням шататься да молочишко попивать...

Мамочкин вскипел:

— Что там комдив говорил — это его дело! А ты чего лезешь? Не хочешь молока — не пей, вон вода в кадке. Это не твое дело, а лейтенанта. Он отвечает перед высшим начальством. Ты нянькой хочешь быть при лейтенанте! А кто ты такой? Деревенщина. Попался бы ты мне в Керчи, я бы тебя за пять минут раздел, разул и рыбкам на обед продал!

Аниканов беззлобно рассмеялся:

— Это верно. Раздеть, разуть — это по твоей части. Ну, и насчет обедов ты мастер. Об этом и говорил комдив.

— Ну и что? — наскокивал Мамочкин, как всегда уязвленный спокойствием Аниканова. — И пообедать можно. Разведчик с головой обедает получше генерала. Обед смелости и смекалки прибавляет. Понятно?

Розовощекий, с льняными волосами Бражников, круглолицый веснушчатый Быков, семнадцатилетний мальчик Юра Голубовский, называемый всеми «Голубь», высокий красавец Феоктистов и остальные, улыбаясь, слушали горячий южный говорок Мамочкина и спокойную, плавную речь Аниканова. Только Марченко — широкоплечий, белозубый, смуглый — все время стоял возле старухи у ткацкого станка и с наивным удивлением городского человека повторял, глядя на ее маленькие сухонькие ручки:

— Это же целая фабрика!..

В спорах Мамочкина с Аникановым — то веселых, то яростных спорах по любому поводу: о преимуществах жерченской селедки перед иркутским омулем, о сравнительных качествах немецкого и советского автоматов, о том, сумасшедший ли Гитлер или просто сволочь, и о сроках открытия второго фронта — Мамочкин был нападающей стороной, а Аниканов, хитро щуря умнейшие маленькие глазки, добродушно, но едко оборонялся, повергая Мамочкина в ярость своим спокойствием.

Мамочкина, с его несдержанностью бузотера и неврастеника, раздражали аникановская деревенская солидность и добродушие. К раздражению примешивалось чувство тайной зависти: у Аниканова был орден, а у него только медаль; к Аниканову командир относился почти как к равному, а к нему почти как ко всем остальным. Все это уязвляло Мамочкина. Он утешал себя тем, что Аниканов — партиец и поэтому, дескать, пользуется особым доверием, но в душе он сам восхищался хладнокровным мужеством Аниканова. Смелость же Мамочкина была зачастую позерством, нуждалась в беспрестанном подстегивании самолюбия, и он понимал это. Самолюбия у Мамочкина было хоть отбавляй. За ним утвердилась слава хорошего разведчика, и он действительно участво-

вал во многих славных делах, где первую роль играл все-таки Аниканов.

Зато в перерывах между боевыми заданиями Мамочкин умел показать товар лицом. Молодые разведчики, еще не бывшие в деле, восхищались им. Он щеголял в широченных шароварах и хромовых желтых сапожках, ворот его гимнастерки был всегда расстегнут, а черный чуб своевольно выбивался из-под кубанки с яркозеленым верхом. Куда было до него массивному, широколицему и простоватому Аниканову!

Происхождение и довоенный опыт каждого из них: колхозная хватка сибиряка Аниканова, сметливость и точный расчет металлиста Марченко, портовая бесшабашность Мамочкина — все это наложило свой отпечаток на их поведение и нрав, но прошлое уже казалось бесконечно далеким. Не зная, сколько еще продлится война, они ушли в нее с головой. Война стала для них бытом и этот взвод — единственной семьей.

Семья! Это была странная семья, члены которой не слишком долго наслаждались совместной жизнью: одни отправлялись в госпиталь, другие еще дальше — туда, откуда никто не возвращается. Была у нее своя небольшая, но яркая история, передаваемая из «поколения» в «поколение». Кое-кто помнил, как во взводе впервые появился Аниканов. Долгое время он не участвовал в деле — никто из старших не решался брать его с собой. Правда, огромная физическая сила сибиряка была большим достоинством: он свободно мог сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже двоих. Однако Аниканов был так огромен и тяжел, что разведчики боялись: а что, если его убьют или ранят? Попробуй вытащи такого из огня! Напрасно он упрашивал и клялся, что если его ранят, он сам доползет, а убьют — «Чорт с вами, бросайте меня! Что мне немец, мертвому-то, сде-

лает?» И только сравнительно недавно, когда пришел к ним новый командир, лейтенант Травкин, сменивший раненого лейтенанта Скворцова, положение изменилось.

Травкин в первый же поиск взял с собой Аниканова. И «эта громадина» сгреб здорового немца так ловко, что остальные разведчики и охнуть не успели. Он действовал быстро и бесшумно, как огромная кошка. Даже Травкин с трудом поверил, что в плащ-палатке Аниканова бьется полузадушенный немец, «язык» — мечта дивизии на протяжении целого месяца. В другой раз Аниканов вместе с сержантом Марченко захватил немецкого капитана, при этом Марченко был ранен в ногу, и Аниканову пришлось тащить немца и Марченко вместе, нежно прижимая товарища и врага друг к другу и боясь в равной степени повредить обоих.

Рассказы о подвигах многоопытных разведчиков были главной темой долгих ночных разговоров, они будоражили воображение новичков, питали в них горделивое чувство исключительности их ремесла. Теперь, в период долгого бездействия, вдали от противника, люди пообленились.

Плотно поев и сладко затаившись махоркой, Мамочкин выразил желание остановиться в деревне на ночь. Марченко неопределенно сказал:

— Да, спешить тут нечего... Все равно не догоним. Здорово тикает немец.

В это время дверь отворилась, вошел Травкин и, показывая пальцем в окно на стреноженных лошадей, спросил хозяйку:

— Бабушка, чьи это кони?

Одна из лошадей, большая гнедая кобыла с белым пятном на лбу, принадлежала старухе, остальные — соседям. Минут через двадцать эти соседи были созваны в

старухину избу, и Травкин, торопливо нацарапав расписку, сказал:

— Если хотите, пошлите с нами кого-нибудь из ваших ребят, он приведет лошадей обратно.

Это предложение понравилось крестьянам. Каждый из них отлично знал, что только благодаря быстрому продвижению советских войск немец не успел угнать всю скотину и сжечь деревню. Они не стали чинить препятствий Травкину и тут же выделили подпаса, который должен был отправиться с отрядом. Шестнадцатилетний паренек в овчинном тулупчике был и горд и напуган возложенным на него ответственным поручением. Распутав лошадей и взнуздав их, а затем напоив из колодца, он вскоре сообщил, что можно трогаться.

Через несколько минут отряд конников пустился крупной рысью на запад. Аниканов подъехал к Травкину и, косясь на скачущего рядом паренька, тихо спросил:

— А не нагорит вам, товарищ лейтенант, за такую реквизицию?

— Да, — ответил Травкин подумав, — может и нагореть. А немца мы все-таки догоним!

Они понимающе улыбнулись друг другу.

Погоня лошадь, всматривался Травкин в безмолвную даль древних лесов. Ветер свирепо дул ему в лицо, а кони казались птицами. Запад озарился кровавым закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на запад всадники.

## *Глава вторая*

Штаб дивизии расположился на ночлег в большом лесу, в центре забывшихся беспокойным сном полков. Костры не зажигались — над лесами на большой высоте назойливо гудели немецкие самолеты, нащупывая проходящие войска. Высланные вперед саперы поработали

здесь полдня и построили красивый зеленый шалашный городок с прямыми аллеями, четкими стрелками указок и опрятными, покрытыми хвоей шалашами. Сколько таких недолговечных «потешных» городков построено было за годы войны саперами дивизии!

Командир саперной роты лейтенант Бугорков дожидался приема у начальника штаба. Подполковник не отрывал глаз от карты. Зеленые пространства ее, с нанесенным на них положением частей дивизии, выглядели очень странно. Обычных линий, проведенных синим карандашом и обозначающих противника, не было вовсе. Тылы находились чорт знает где. Полки казались угрожающе одинокими в нескончаемой зелени лесов.

Лес, в котором дивизия остановилась на ночлег, имел форму вопросительного знака. Этот зеленый вопросительный знак словно дразнил подполковника Галиева издевательским голосом командарма: «Ну как? Это вам не Северо-западный фронт, где вы полвойны сиднем просидели и немецкая артиллерия стреляла по часам? Маневренная война-с!»

Галиев, не спавший уже которую ночь, кутался в бурку. Подняв наконец глаза от карты, он заметил Бугоркова:

— Тебе чего?

Лейтенант Бугорков не без удовольствия оглядывал построенный им превосходный шалаш.

— Я пришел узнать, где разместится завтра штаб, товарищ подполковник, — ответил он. — На рассвете я вышлю туда взвод.

Ему очень хотелось, чтобы дивизия задержалась в этом лесу хотя бы еще на сутки. Веселый шалашный городок был бы хоть немного обжит, и хоть кто-нибудь да похвалил бы Бугоркова за это чудо шалашного строительства. А то и оглянуться не успеешь, как новенькие

шалаша будут покинуты и в них начнет хозяйничать весенний ветер. Бугорков был сыном и внуком прославленных плотников и каменщиков — неудовлетворенная гордость строителя говорила в нем.

Подполковник кратко сказал:

— Дай свою карту, — и начертил на карте Бугоркова флажок на опушке какого-то другого леса, километрах в сорока от нынешней стоянки.

Бугорков подавил вздох и направился к выходу, но в эту минуту плащ-палатка, занавешивающая вход, раздвинулась, и в шалаш вошел начальник разведки капитан Барашкин. Подполковник Галиев встретил его очень неприветливо:

— Командир дивизии недоволен разведкой. Сегодня мы встретили лейтенанта Травкина с его людьми. Что за вид! Незаправленные, обросшие. О чем вы думаете?

Подполковник помолчал и вдруг выкрикнул отчаянным голосом:

— И будьте любезны, капитан, скажите мне наконец, где противник?

Лейтенант Бугорков выскользнул из шалаша и пошел готовить взвод саперов к предстоящему выступлению. Он решил по дороге отыскать Травкина, чтобы предупредить его о слышанном. «Пусть срочно пострижет и побреет разведчиков, — благожелательно думал Бугорков, — не то ему будет здоровая нахлобучка».

Бугорков любил Травкина, своего земляка-волжанина. Прославленный разведчик, Травкин оставался тем же тихим и скромным юношей, каким был при их первой встрече. Встречались они, правда, довольно редко — у каждого хватало собственных служебных забот, — но приятно было иногда вспомнить, что здесь, где-то недалеко, ходит приятель и земляк Володя Травкин, скром-

ный, серьезный, верный человек, ходит вечно на виду у смерти, ближе всех к ней...

Травкина Бугоркову найти не удалось. Сунулся он в шалаш Барашкина, но тот был еще не в себе после полученного нагоняя и на вопрос Бугоркова ответил:

— Чорт его знает, где он! Охота мне получать за него замечания...

Капитан Барашкин славился в дивизии как сквернослов и лентяй. Зная, что начальство относится к нему плохо, и каждый день ожидая, что его отстранят от работы, он и вовсе перестал что-либо делать. Где его разведчики и чем они занимаются, он так толком и не знал в течение всего наступления. Сам он ехал в штабном грузовике и «крутил роман» с только что прибывшей новой радисткой Катей, светловолосой задумчивой девицей-солдатиком с красивыми глазами.

Бугорков вышел от Барашкина и очутился в самом центре построенного им недолговечного человеческого гнезда. Слоняясь по прямым аллеям, он думал о том, что хорошо бы покончить наконец с этой войной, поехать в свой родной город и там снова делать свое дело: строить новые дома, вдыхать сладкий запах строганых досок и, взбираясь по лесам, обсуждать с бородами мастерами замысловатые чертежи на помятой синьке.

На рассвете Бугорков, уложив на повозку лопаты, кирки и прочий инструмент, отправился в путь во главе своих саперов.

Болтовня первых птиц разносилась по лесу, смыкавшему над узкой дорогой кроны старых деревьев. По обочинам дороги ходили в накинутах поверх шинелей плащ-палатках продрогшие за ночь часовые. У дороги и вокруг стоянки были вырыты окопы, и в них дежурили у своих пулеметов сошны пулеметчики. Солдаты спали на земле



на елочном лапнике, тесно прижавшись друг к другу. Утренний холод будил людей, и они бросались собирать шишки и ветки для костров.

«Вот она, война! — думал Бугорков поживаясь. — Великая бездомность сотен и тысяч людей».

Пройдя километров десять, саперы увидели быстро приближающиеся с запада фигуры трех всадников. Бугорков встревожился: он знал, что впереди нет ни одного красноармейца. Всадники неслись галопом, и вскоре Бугорков с облегчением узнал в одном из них Травкина.

Не сходя с лошади, Травкин сказал:

— Немцы недалеко, с артиллерией и самоходками.

Он на карте Бугоркова показал расположение немецкой обороны, проходившей как раз по опушке того леса, где Бугорков собирался строить очередной шалашный городок.

— А два немецких броневика и самоходка стоят вот здесь, наверное в засаде.

Напоследок Травкин сказал:

— Вот видишь... Аниканов ранен в стычке с немцами.

Аниканов неловко сидел на лошади, виновато улыбаясь, словно он по неосторожности причинил всем большую неприятность.

Бугорков спросил растерянно:

— А мне что делать?

Условились, что саперы подождут здесь. Травкин доложит начальнику штаба, а потом передаст Бугоркову распоряжение Галиева. Травкин стегнул большую гнедую лошадь с белым пятном на лбу и снова пустился вскачь.

Посреди шалашного городка, возле своей машины, стоял полковник Сербиченко. Вокруг собрались командиры полков, подполковники и майоры, а немного поодаль—



адъютанты и ординарцы. Травкин круто остановил лошадь, слез с нее и, прихрамывая после непривычно долгой верховой езды, доложил:

— Товарищ комдив, немцы недалеко.

Его обступили, и он кратко рассказал, что на ближней речке расположены немецкие позиции в виде сплошной траншеи. Он видел там же артиллерийские позиции и шесть самоходок. Траншеи заняты немецкой пехотой. Километрах в двадцати отсюда два броневика и самоходка стоят в засаде.

Комдив отметил на карте данные Травкина. Началась легкая суматоха: командиры полков и штабные тоже вынули карты, подполковник Галиев скинул с плеч на землю свою бурку, вдруг перестав зябнуть, а начальник политотдела пошел собирать политработников.

— Значит, ты думаешь, что оборона серьезная? — спросил наконец комдив, проведя последнюю черту синим карандашом на карте, развернутой по капоту автомашины.

— Так точно.

— И самоходки ты сам видел?

— Так точно.

— А ты не сочиняешь трюшки? — неожиданно заключил свои вопросы полковник, вскидывая на Травкина зеленовато-серые прищуренные глаза.

— Нет, не сочиняю, — ответил Травкин.

— Ты не обижайся, — примирительным тоном сказал комдив. — Это я для верности спрашиваю, ибо знаю, козаче, что разведчики приврать любят.

— Я не вру, — повторил Травкин.

Где-то уже давали команду «В ружье!» Лес глухо зашумел. Это подымались подразделения.

Комдив, глядя на карту, приказывал:

— Полки идут походным порядком, как раньше.

Авангардный полк высылает вперед усиленный батальон в качестве передового отряда. Полковая артиллерия следует с пехотой. На фланги выбрасываются разведчики и автоматчики. Достигнув высоты 108,1, передовой полк разворачивается в боевой порядок. Его командный пункт — высота 108,1. Я — на западной опушке этого леса, возле дома лесника... Галиев, готовь боевое распоряжение! Доложи в корпус. — И вдруг сказал негромко: — Смотрите, товарищи начальники! Артполк отстал. Снарядов и патронов мало. Мы в невыгодном положении. Будем честно выполнять свой долг.

Офицеры быстро разошлись по своим делам, и у машины остались только комдив, Галиев и Травкин.

Полковник Сербиченко оглядел Травкина и его взмыленную лошадь и, усмехнувшись, произнес:

— Добрый козак.

— У меня Аниканов ранен, — смутившись, поведал ни с того ни с сего полковнику Травкин.

Комдив ничего не ответил, отдал последние распоряжения Галиеву и уехал к полкам.

Вокруг Галиева забегали штабные офицеры. Он был неузнаваем. Повеселевший, шумливый, он вдруг стал похож на проказливого бакинскому мальчишку, каким был лет тридцать назад. «Галиев немца чует», говорили про него в такие минуты.

— Поезжай к своим людям! Следи за немцем и присылай нарочных! — крикнул он Травкину.

— Есть! — крикнул в ответ Травкин и снова вскочил на лошадь.

Сопровождавший его разведчик между тем сдал Аниканова санинструктору и, ведя на поводу лошадь без седока, присоединился к лейтенанту.

Травкин застал Бугоркова на прежнем месте в тревожном ожидании. Травкин спешил, рассеянно выпил

предложенную Бугорковым водку и показал ему на карте месторасположение штаба дивизии.

— Значит, снова война начинается, — сказал Бугорков и посмотрел в серьезные глаза Травкина.

Разведчики пришпорили лошадей и пустились вскачь навстречу неизвестному.

А саперы тронулись в путь, тихо рассуждая о том, что вот снова начнутся бои и конца этим боям не видать. Не видать конца этим боям...

Бугорков сказал:

— Ну, ребята, теперь вместо шалашстрой будет нам блиндажстрой.

Травкин вскоре присоединился к своим людям, ожидавшим его на лесистом холме, неподалеку от безымянной речки, за которой окопались немцы.

Марченко, наблюдавший немцев с верхушки дерева, слез и доложил лейтенанту:

— Эти немцы в броневиках и самоходке покрутились здесь полчаса, потом повернули и переехали речку — к своим, значит, убрались. Речка мелкая, я видел. Вода доходила броневику до середины.

Разведчики поползли к речке и залегли в кустах. Паренька с лошадьми Травкин отправил домой:

— Езжай все прямо по этой дороге. Лошадей возьми не всех — две останутся у меня еще на день. Пришлю их завтра, а то донесения не на чем посылать.

Затем Травкин подполз к своим людям и стал наблюдать немецкую оборону. Траншея была вырыта недавно и еще не закончена. Перебегающим по ней немцам она едва доходила до плеч. Впереди траншеи — проволочное ограждение в два кола. Разведчиков отделяла от немцев неширокая речка, поросшая камышом. На бруствере траншеи во весь рост стоял человек и смотрел на восточный берег в бинокль.

— Сейчас отправлю его к гитлеровой бабушке, — шепнул Мамочкин.

— Не дури! — сказал Травкин.

Он смотрел на немецкую оборону, оценивая ее. Да, вот та чуть приметная серая полоска земли — вторая траншея. Место для обороны немцы выбрали хорошее: западный берег гораздо выше восточного и густо порос лесом. Высота возле разбросанных домиков хутора — командная, на карте она обозначена цифрой 161,3. Немцев в траншее много. На восточной окраине хутора стоит самоходная пушка. Травкин вдруг вспомнил об Аниканове, но вспомнил как-то вскользь, неопределенно. Так вспоминают сошедшего ночью с поезда пассажира, недолго побывшего среди остальных и сгнувшего неизвестно куда.

Мамочкин прошептал:

— Смотрите, товарищ лейтенант: фрицы выходят на экскурсию.

Человек тридцать немцев вышли из лесу и пошли к реке. Здесь они рассредоточились и, с опаской вглядываясь в противоположный берег, вошли в мутную воду.

Травкин сказал лучшему стрелку взвода — Марченко:

— Пугни-ка их!

Последовала длинная очередь из автомата. От пулевых ударов подскакивали фонтанчики. Немцы выскочили из реки обратно на свой берег и, суетливо оглядываясь и гогоча, как гуси, залегли. В траншее заволновались, забегали, раздалась гортанная команда, засвистели пули.

Самоходная пушка, стоявшая на окраине хутора, вдруг затряслась, заверещала и выпустила один за другим три снаряда. Через секунду ударили немецкие орудия. Их было не меньше десятка, и они в течение трех-четырех

минут били по бугру. Снаряды яростно взрывали землю, оглушая странным воплем молчаливые леса.

Гул артиллерийского налета услышал передовой отряд дивизии — усиленный батальон. Люди остановились. Командир батальона капитан Муштаков и командир батареи капитан Гуревич замерли на своих лошадях. Муштаков сказал:

— Вот что значит отвык... Больше месяца не слышал этой музыки.

Взрывы следовали равномерно один за другим.

Постояв с минуту, усиленный батальон двинулся дальше. На повороте солдаты увидели паренька в овчинном тулупчике, с лошадьми. Он сидел, сгорбившись, верхом на лошади и, вытянув шею, прислушивался к мощному гулу орудий.

Командир батальона, поровнявшись с ним, спросил:

— Ты что тут делаешь?

— Поспишайте! — испуганным шопотом сказал паренек. — Там на ричци немцев багато-багато, а разведчиков двенадцать чоловик...

### *Глава третья*

То, что на военном языке называется переходом к обороне, начинается так:

Части развертываются и пытаются с ходу прорвать фронт противника. Но люди измотаны непрерывным наступлением, артиллерии и боеприпасов мало. Попытка атаковать не имеет успеха. Пехота остается лежать на мокрой земле под неприятельским огнем и весенним дождем вперемешку со снегом. Телефонисты слушают яростные приказания и ругань старших командиров: «Прорвать! Поднять пехоту и опрокинуть фрицев!» После второй неудачной атаки поступает приказ: «Окопаться».

Война превращается в огромную землеройку. Земляные работы ведутся по ночам, освещаемые разноцветными немецкими ракетами и пожаром зажженных немецкой артиллерией ближних деревень. В земле растет запутанный лабиринт звериных нор и норок. Вскоре вся местность преобразуется. Это уже не лесистый берег небольшой реки, заросшей камышом и водорослями, а изъезженный осколками и разрывами передний край, разделенный на пояса, как Дантов ад, лысый, перекопанный, обезличенный и обвеваемый нездешним ветром.

Разведчики, сидя по ночам на бывшем берегу реки (теперь это зовется нейтральной полосой), слушают стук немецких топоров и голоса немецких саперов, тоже укрепляющих свой передний край.

Между тем нет худа без добра. Понемногу подтягиваются тылы, на скрипучих повозках подвозятся снаряды, патроны, хлеб, сено, консервы. Подъехали наконец и остановились где-то поблизости, маскируясь в ближних лесах, медсанбат, полевая почта, обменный пункт, ветеринарный лазарет.

Прибывает и арtpолк, встречаемый всеми с великой радостью. Орудия вкапываются в землю и ведут правильную пристрелку по целям, производя, к полному удовольствию наших солдат, буйные налеты на немецкие траншеи и блиндажи.

Начинается сравнительно тихая жизнь, мокрая жизнь, жизнь липкая, дрянная, земляная, но все-таки жизнь. А когда подходит ближе полевая почта и накопившиеся за месяц наступления письма целыми пачками доходят до продрогших солдатских рук, — это уже почти счастливая жизнь.

Сидя в окопчике на самом берегу реки, среди камыша и гниловатых водорослей, прочитал свои письма и Травкин. Писали мать — учительница из небольшого



волжского городка, и сестра из Москвы. Все письма матери, в сущности, были невысказанной горячей просьбой: не погибнуть.

Сестра Лена, студентка Московской консерватории по классу скрипки, писала о своих успехах. Она писала о Бахе и Чайковском с юношеской фамильярностью: дескать, «старик Чайковский оказался не так уж труден, как я думала раньше... Этот старый немец Бах...» и так дальше. Лепет юности, ровный свет электрических плафонов, тусклый блеск скрипок — как все было далеко! Травкин даже, по правде сказать, обиделся, что люди ходят в театр, слушают музыку, влюбляются, учатся, в то время как он, Травкин, и другие сидят здесь под страхом смерти и — что еще хуже — под проливным дождем.

— Что вам пишут, товарищ лейтенант? — спросил сидящий рядом с биноклем в руках Марченко.

Травкин ответил:

— Живут помаленьку и на нас посматривают — скоро ли мы кончим.

Марченко, улыбнувшись, кивнул головой. При этом он не отрываясь глядел в бинокль на вражеские позиции и заметил:

— Немцы что-то шевелятся.

Травкин взял бинокль: немцы выкатывали из лесу орудие. И он засмеялся, вспомнив слова сестры, которые теперь прозвучали так: «Этот старый немец Б-бах! Ба-бах!»

Травкин сообщил по телефону Гуревичу:

— Смотрите, Гуревич, они орудие выкатили на прямую наводку — два пальца правой разрушенного дома. Видите?

— Спасибо, Травкин! — глухо прозвучал в телефонную трубку голос вечно бодрствующего артиллериста. — Сейчас накрою.

Просунув голову сквозь влажный камыш, появился Мамочкин:

— Кушать будете, товарищ лейтенант?

Он принес Травкину полгуся на завернутой в газету фарфоровой тарелке.

Травкин, поделив гуся с Марченко, вдруг подумал о том, что Мамочкин последнее время частенько приносит различные лакомства «невоенного образца». Он хотел спросить Мамочкина, откуда вся эта снедь, но тут же забыл, отвлеченный новым замечанием Марченко насчет поведения немцев.

Мамочкин действительно разбогател. Никто не знал, откуда он добывает всю эту пропасть яиц, масла, птицы, соленых огурцов и квашеной капусты. На вопросы разведчиков Мамочкин, ухмыляясь, отвечал:

— Что ж, сумей...

А дело было простое и очень даже некрасивое. Отводя по приказанию Травкина оставшихся двух лошадей в деревню, Мамочкин не повел их по назначению, а отдал «на время» старику-вдовцу в ближний хутор, не взяв платы, но выговорив право получать у старика различные продукты. Время было горячее — надо пахать и сеять, и старик не скупился.

Молодые разведчики смотрели на Мамочкина с восторгом, удивляясь его хитроумию и удачливости. В лице красавца Феоктистова он имел верного адъютанта, старавшегося походить на Мамочкина во всем и даже отпустившего усики по примеру своего кумира.

По вечерам Мамочкин рассказывал новичкам устную летопись взвода, особо выделяя, конечно, свои собственные заслуги. Правда, и Аниканова он снисходительно похваливал: Аниканов уже стал историей и не мог повредить славе Мамочкина.

Разведчики, слушая Мамочкина, часто ловили его на несуразностях и противоречиях. Он мало смущался этим. Только в присутствии Травкина красноречие Мамочкина сразу же тускнело. Травкин ненавидел неправду. Иногда в свободные вечера он сам начинал рассказывать эпизоды боевой жизни, и такие вечера были для новичков настоящим праздником, ибо чуяли они в его словах правдивость и убежденность и в ходе его рассказа улавливали не один только внешний ход событий, а внутреннюю их закономерность. Они начинали понимать, почему нужно действовать именно так, а не иначе, и при каких обстоятельствах.

При этом их поражала его скромность. Он рассказывал об Аниканове, о погибшем старшине Белове, о Марченко и о Мамочкине, а себя как-то обходил, выставляя неким очевидцем.

— Надо учиться действовать так, как Аниканов, — нередко заканчивал он свой рассказ, и Мамочкин ревниво ерзал в своем углу.

Молоденький Юра Голубь в эти вечера усаживался у ног лейтенанта и глядел на него влюбленными глазами. Он мог сколько угодно восторгаться преувеличенной лихостью Мамочкина, но образцом для него был только этот замкнутый юный и немножко непонятный лейтенант.

Впрочем, Мамочкин тоже любил эти вечера. Лейтенант, обычно молчаливый, в эти редкие минуты как-то раскрывался. Он знал много разных историй и иногда рассказывал о жизни ученых и полководцев, а Мамочкин был любознателен.

Травкину он носил яства из своего никому неведомого источника не потому, что хотел задобрить командира. Разбираясь в людях, Мамочкин понимал, что добиться таким путем от лейтенанта каких-то там льгот

или поблажек невозможно: Травкин ел гусей, даже не замечая толком, что он ест. Мамочкин «покровительствовал» Травкину потому, что любил его. Любил именно за те качества, каких нехватало ему самому: за самозабвенное отношение к делу и за абсолютное бескорыстие. Он с удивлением наблюдал, с какой точностью Травкин делит получаемую водку, наливая себе меньше, чем всем остальным. Отдыхал он тоже меньше всех. Мамочкин не мог этого понять. Он чувствовал, что лейтенант правильно и хорошо поступает, но прекрасно знал, что на месте командира действовал бы далеко не так.

Отнеся лейтенанту очередную порцию «конины», как он про себя называл гусей, кур и прочую снедь, получаемую за «прокат» коней, Мамочкин отправился к овину, где обосновались на жительство разведчики. И тут он чуть не наткнулся на командира дивизии полковника Сербиченко, встречи с которым всячески избегал из-за своей зеленой кубанки и желтых сапожек: комдив не терпел отклонений от установленной формы одежды.

Рядом с полковником стояла беленькая девушка со стриженными по-мужски волосами, одетая в обычный солдатский костюм, с нашивками младшего сержанта на погонах. Мамочкин не знал ее, а он знал здесь всех женщин наперечет. Комдив разговаривал с девушкой, ласково улыбаясь.

Полковник Сербиченко относился к женщинам с покровительственной нежностью. В глубине души он считал, что женщинам не место на войне, но он не испытывал к ним поэтому пренебрежения, как многие другие, а жалел их жалостью старого солдата, хорошо знающего тяготы войны.

— Ну как? Нравится тебе у нас? — спрашивал полковник.

Девушка застенчиво отвечала:

— Ничего... как всюду.

— Разве как всюду? У меня не так, как всюду. У меня, милая моя, дивизия прославленная, краснознаменная! Никто тебя не обижает?

— Нет, товарищ полковник.

— Гляди! Будут обижать — приходи и жалуйся смело. Девушек у нас мало, и я их в обиду не даю. А ты не крутишь с парнями?

— Зачем они мне? — засмеялась девушка.

— Смотри не обманывай... Все знаю. Тебя с капитаном Барашкиным не раз видели. Смотри держись хорошо, — сказал он вдруг серьезно.

Он попрощался с ней и пошел по направлению к своей избе, а девушка осталась стоять под деревом.

Тут перед ней и предстал Мамочкин:

— Мое почтение, барышня!

Она удивленно оглядела его с головы до ног.

— Разведчик сержант Мамочкин! — лихо пристукнул он каблуками.

Девушка улыбнулась.

— Я вас раньше, так сказать, не встречал, — увязался он за ней. — Вы из другой части или с неба упали?

Она рассмеялась и пояснила, что ее перевели сюда из другой дивизии.

— А с разведкой вы там дружили?

— Я в штабе тыла работала.

Они шли рядом. Она беззаботно посмеивалась, а он блистал портовым остроумием:

— Советую вам, Катюша (он уже узнал ее имя), в дальнейшей жизни дружить с разведкой. Кто лучший кавалер? Ясно, разведчик. У кого всегда выпивка плюс закуска и часы? Обрато, у разведчика. Кто самый са-

мостоятельный и отчаянный? Безусловно, разведчик! Понятно? И неужели вы никого из разведчиков не знаете? — продолжал он, игриво ухмыляясь. — А неизвестный нам капитан Барашкин как? А?

— Вы откуда знаете? — удивилась она.

— Разведчики всё знают!

Итти гулять с ним она отказалась, но обещала зайти как-нибудь в гости. Мамочкин обиделся было, но потом снова развеселился, и они расстались друзьями.

Придя в овин, Мамочкин застал там негромкую, но напряженную возню, как всегда перед выходом на задание, и вспомнил, что Марченко сегодня отправляется на поиск во главе группы в четыре человека.

Марченко только что пришел с переднего края и, сидя в углу, у старой, ржавой молотилки, писал письмо. Люди, отправлявшиеся с ним, надевали маскхалаты, привешивали гранаты, как-то сосредоточенно суетились и ежеминутно взглядывали на Марченко — не пора ли итти.

Марченко писал жене и своим старикам в город Харьков. Он сообщал им, что жив и здоров и у него все по-старому, а письма задерживаются потому, что почта отстала из-за наступления. Хотя все это были обычные вещи, но писал он на этот раз по-особому, за каждой строкой подразумевая другую, более проникновенную. Когда он кончил писать, он был взволнован. Письмо отдал дневальному, а сам негромко сказал:

— Ну, ребята, пошли, значит. Все готово?

Он выстроил свою четверку, испытующе осмотрел ее, затем спросил:

— А саперов-то нет?

Из дальнего угла, из глубины наваленной соломы, послышался спокойный веселый голос:

— Как так нет? Саперы на месте.

Облепленные соломинками, поднялись два сапера, присланные Бугорковым для сопровождения группы Марченко.

— Я старший, — произнес ранее говоривший голос, принадлежавший коренастому солдату лет двадцати.

— Тебя как звать? — осведомился Марченко, одобрительно оглядев сапера.

— Максименком звать, земляк твой, — отвечивал «старший» под общий смех.

— Откуда? — засмеялся, блеснув жемчужными зубами, Марченко.

— З Кременчуга.

— Да, почти земляк... Задачу свою знаешь?

— Знаю, — так же бойко отвечал Максименко: — розминировать немецки мины, розризовать немецку проволоку, пропустыть вас у цей розриз и итты до дому на комсомольске собрание, бо у нас завтра вранку собрание, а я комсорг. Такая наша задача.

— Молодец, хлопец! — еще раз засмеялся Марченко. — Мы, значит, дважды земляки: я тоже у нас тут комсоргом. Пошли!

И группа гуськом по обочине дороги двинулась к переднему краю, где ее ожидал Травкин.

#### *Глава четвертая*

На пятый день после ухода Марченко Мамочкин снова встретил Катю и пригласил ее к разведчикам.

Он расстелил в углу сарая белую скатерть, разложил аппетитную закуску, поставил бутылку самогону и, пригласив Феоктистова и еще нескольких друзей, уселся рядом с Катей.

В разгар пира в овин зашел Травкин, которого никто не ожидал.

Приход лейтенанта вызвал некоторое замешательство, во время которого Мамочкину удалось спрятать бутылку и кружку. По правде сказать, Мамочкину не очень-то приятно было обнаруживать при девушке свою робость перед командиром, но было еще менее приятно получить от лейтенанта суровое замечание.

Травкин покосился на сидящих в углу разведчиков и незнакомую девушку. Разведчики встали, но он тихо сказал: «Вольно!» и лег на свою постель в дальнем углу. Он не спал третьи сутки. Позапрошлой ночью должен был вернуться Марченко, но Травкин напрасно ждал его в траншее, борясь с тяжелой полудремотой. Странно и тревожно было, что не вернулись и два сапера, которым надлежало вернуться немедленно после прохода разведчиками минного поля. Вся группа, бесшумно скрывшаяся в непроглядной темени, пропала, исчезла, и следы ее замыл дождь.

Травкин улегся на байковое одеяло и заснул беспокойным сном.

Притихшие разведчики снова выпили по чарке, а Катя негромко спросила:

— Это ваш командир? Тихий такой и молодой!

Травкин метался во сне и вдруг заговорил:

— Ты чего не приходил так долго? Станный ты человек! И саперы не приходили. А мы Чайковского слушали. Чудак! А ты все не приходил. Ч-чудак...

Речь его не была похожа на речь говорящего во сне. Он произносил слова обыденным, нормальным голосом бодрствующего человека. Разведчикам стало не по себе. Они поодиночке разбрелись по овину, оставив Мамочкина одного перед белой скатертью.

Катя неслышными шагами подошла к Травкину и остановилась над ним. Его глаза были полуоткрыты, как у спящего ребенка, выцветшая гимнастерка расстегнута,



а на лице застыло выражение горькой обиды. Она тихо сказала:

— Какой он у вас хорошенький!

— Не буди его! — грубо отозвался Мамочкин, но она не обиделась, почував в его словах такую же нежность к спящему, какая охватила и ее. — Беспокойтесь наш лейтенант, — пояснил Мамочкин угрюмо.

Да, вечеринка была вконец испорчена, это почувствовали все.

И только Катя вышла из овина в каком-то приподнятом, печально-торжественном настроении. Идя по зеленеющему лесу, она с беспокойством и даже с некоторым удивлением ощущала это свое настроение. Что могло ее так задеть, разнежить, наполнить такой радостной грустью? Перед глазами ее стояло почти детское лицо лейтенанта. Может быть, она увидела в нем свое собственное отражение, что-то похожее на боль, глубоко затаившуюся в ее душе, — еще не утихшую боль девушки из маленького города, встретившейся на войне с тяжестью жизни в самом ее жестоком проявлении?..

Катя все чаще и чаще стала забегать в овин разведчиков. Мамочкин, да и все остальные прекрасно разобрались в душевном состоянии девушки. Мамочкин даже обрадовался. Считая себя покровителем лейтенанта в житейских делах, он решил, что небольшой роман с Катей отвлечет лейтенанта от тяжелых дум. А Травкин заметно затосковал после очевидной гибели Марченко и его группы.

Разведчики наперебой приглашали Катю в гости, рассказывали ей все новости о лейтенанте, бегали в роту связи сообщить: «Наш-то с передовой пришел», — одним словом, всячески старались сблизить Катю с Травкиным.

Единственный, кто не замечал всей этой кутерьмы, был сам Травкин.

Однажды он, придя в овин, увидел, что угол его отгорожен плащ-палатками и вместо одеяла, разостланного на сене, там стоят настоящая кровать и столик, а на столике — вазочка со свежими подснежниками. Он спросил:

— Это что такое?

— А что? — с невинным видом ответил Бражников. — Это Катя, связистка, для вас старается, товарищ лейтенант.

Травкин густо покраснел и спросил:

— Почему вы впускаете в расположение взвода посторонних людей?

Бражников виновато промолчал, а Мамочкин, узнав об этом разговоре, развел руками:

— Что за человек! Все о немцах думает и больше ни о чем! Всѐ схемы немецкой обороны рисует, над картой сидит и по переднему краю целыми днями рыщет...

Что касается Кати, то она вначале была обескуражена замкнутостью и юношеской застенчивостью Травкина.

Потом она вдруг почувствовала себя вдвойне счастливой: ее любимый был не обычный человек, нет, — он суровый, гордый и чистый. Таким он и должен быть. Она непривычно робела в его присутствии, сама удивляясь своей робости.

Каждый день она приходила в овин с цветами и веточками пушистой вербы. Но не в цветах было дело: она приносила с собой благоухание милой женственности, по которой тосковали одинокие сердца бойцов. Разведчики даже порицали своего командира за равнодушие к девушке, хотя одновременно и гордились его неприступностью.

Приехавший в дивизию начальник разведотдела

армии полковник Семеркин застал Катю в момент, когда она ставила свежие цветы в синюю вазочку. Полковник зашел в овин посмотреть, как живут разведчики, но в овине никого не оказалось, кроме повара, дневального и этой девушки.

— Вы кто такая? — спросил полковник.

— Радист, младший сержант Симакова! — отрапортовала она.

— А я думал, что вы тут цветами торгуете, — пробормотал желчный полковник и вышел.

Затем он долго беседовал с командиром дивизии. Они вежливо, но основательно поспорили.

— Вы ничего не знаете о противостоящем противнике, — упрекал командира дивизии полковник Семеркин. — Разве у вас есть ясное представление о его группировке и замыслах?

Полковник Сербиченко, стараясь сдерживать себя, отшучивался:

— А откуда я могу знать? Командир дивизии иногда не знает, что у него самого в войсках творится. Откуда же ему знать, что делает противник? Вот послал я разведчиков в поиск, а они не вернулись. Для вас семь человек — это так, мелочь. Вы — армия. А я человек маленький, для меня гибель семи — большая, очень большая потеря! Разведчиков у меня повыбило в боях.

— Это верно, — сказал полковник Семеркин. — А вы посмотрите, что у вас в разведке делается. Прихожу к ним в овин — никого нет. Дневальный и не знает, где они. Правда, девица там с цветами ходит. Какая идиллия! А следователь вашей прокуратуры только что мне сказал, что к нему поступила серьезная жалоба на ваших разведчиков. Да, товарищ полковник, вы не знаете, а я узнал. Жалоба какого-то села. Вот вам и причины плохой работы разведки.

Полковник Сербиченко велел вызвать следователя. Незаметный, спокойный, чуть рябой, с большим выпуклым лысым черепом, вскоре явился следователь прокуратуры капитан Еськин.

Следователь подробно рассказал о жалобе жителей недалекого села на то, что разведчики забрали у них — самовольно! — тринадцать лошадей, из которых вернули только одиннадцать. К заявлению приложена расписка с неразборчивой подписью.

— А почему вы думаете, что это сделали именно наши разведчики?

Следователь, не робея под грозным взглядом комдива, ответил:

— Это еще точно не установлено.

— Так установите точно, потом доложите. Можете идти.

Следователь вышел, а комдив устало сказал полковнику Семеркину:

— Что ж, группу в тыл мы пошлем. А вы постарайтесь пополнить нас разведчиками.

Когда все разошлись, полковник Сербиченко тоже вышел из избы, на ходу бросив вскочившему в прихожей ординарцу:

— Скоро приду.

Полковник пошел по направлению к лениво вертящейся мельнице и, подойдя к одному из разбросанных здесь овинов, спросил у дневального возле входа:

— Разведчики?

— Так точно, товарищ полковник, — ответил дневальный и громко крикнул в полутемный овин: — Встать! Смирно!

Овин зашевелился и замер. Комдив пытливо осмотрелся. В сумерках овина стояло человек восемь разведчиков, руки по швам. Один из углов был отгоро-

жен плащ-палатками. Комдив молча подошел к этому углу, приподнял плащ-палатку и увидел там Катю, тоже ставшую «смирно». На столике в синей вазочке стояли цветы, лежали книжки и тетрадки.

Сердитый взгляд командира дивизии чуть смягчился. Он внимательно посмотрел на Катю и спросил:

— Ты что тут делаешь? — Затем, обращаясь к подбежавшему с рапортом дежурному сержанту, осведомился: — Где ваш командир?

— Лейтенант на передовой.

— Когда придет, пришли его ко мне.

Он направился к выходу, потом оглянулся:

— Побудешь здесь, Катя, или со мной пойдешь?

— Я пойду, — сказала Катя.

Они вышли вдвоем.

— Ты чего застеснялась? — спросил комдив. — Ничего плохого тут нет. Травкин — парень хороший, разведчик смелый.

Она промолчала.

— Что? Влюбилась? Хорошо! А капитан Барашкин как? В отставку?

— То — ничего, — сказала она, — то было просто так, глупость...

Полковник заворчал, потом, внимательно поглядев на опущенные ресницы Кати, вдруг спросил:

— А он, Травкин, что? Рад? Девушка хоть куда, да еще цветы приносит!

Она ничего не ответила, и он понял:

— Что? Не любит?

Его умилила старинная трагедия неразделенной любви в образе этой пичужки с погонами младшего сержанта. Здесь, в самом пекле войны, затрепетала молодая любовь, как птичка над крокодилей пастью. Полковник усмехнулся.

Они встретили военфельдшера Улыбышеву, и комдив пригласил ее с Катей к себе пить чай.

Придя в избу полковника, Улыбышева с Катей принялись хозяйничать, при помощи ординарца вскипятили самовар и сели за стол, весело болтая о всякой всячине.

Через некоторое время пришел Травкин.

— Садись, — сказал комдив.

Катя заволновалась, боясь, что полковник станет подшучивать над ее чувствами к Травкину, но он не проронил об этом ни слова. Разговор шел о каких-то лошадях, а Катя робко смотрела на лейтенанта, на его молодое серьезное лицо, слушала его ясные, четкие ответы комдиву, хотя и не вникала в их смысл. И ей стало нестерпимо горько.

«Ну какая я ему пара? — думала она. — Он такой умный, серьезный. Сестра у него скрипачка, и сам он будет ученым. А я? Девчонка, такая же, как тысячи других».

Травкин ни в малейшей степени не догадывался об истинных чувствах этой девушки. Она вызывала в нем досаду и недоумение. Ее неожиданные приходы в овин, непрошенные заботы о его удобствах — все это казалось ему чем-то неприличным, навязчивым и глупым. Он стыдился своих разведчиков, которые при ее появлении многозначительно переглядывались, неуклюже стараясь оставлять его с ней наедине.

Теперь он крайне удивился, увидя ее в комнате командира дивизии, да еще за самоваром. И когда комдив заговорил об истории с лошадьми, Травкин сначала подумал, что это Катя, узнав о лошадях из разговоров разведчиков, насплетничала комдиву.

Он вкратце объяснил полковнику, как было дело, и перед комдивом вдруг воскресли те дни наступления, беспрестанные марши, короткие схватки и тот мартовский полдень, когда он, полковник, стоя посреди разбитой

дороги, так насмешливо упрекал разведчиков. Из зелено-вато-серых глаз комдива на Травкина глянул ободряющий прищуренный взгляд разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко: «Молодец, Травкин!»

Полковник спросил:

— А точно ты вернул всех лошадей крестьянам?

Травкин утвердительно ответил:

— Точно.

В дверь постучали, и на пороге показался капитан Барашкин.

— Тебе чего? — недовольно спросил Сербиченко.

— Вы меня не вызывали, товарищ полковник?

— Вызывал часа три назад. Говорил с тобой Семеркин?

— Говорил, товарищ полковник.

— Ну, и что?

— Пошлем группу в тыл противника.

— Кто пойдет старшим?

— Да вот он, Травкин, — со скрытым злорадством ответил Барашкин.

Но он ошибся в расчете: Травкин и глазом не моргнул, Улыбышева спокойно разливала чай, не зная, в чем дело, а Катя совершенно не поняла, что произнесенные слова находились в прямой связи с судьбой ее любви.

Единственный, кто понял выражение глаз Барашкина, был командир дивизии, но он не имел оснований не соглашаться с Барашкиным. Действительно, лучшей кандидатурой для руководства этой необычайно трудной операцией был Травкин.

— Хорошо, — сказал комдив и отпустил Барашкина.

Поднялся вскоре и Травкин.

— Ну что ж, иди, — напутствовал его полковник. — Готовься смотри, дело серьезное.

— Есть! — сказал Травкин и вышел из избы.

Прислушиваясь к удаляющимся шагам разведчика, полковник невесело сказал.

— Хорош парень!

После ухода Травкина Кате не сиделось. Вскоре она попрощалась и вышла. Была теплая лунная ночь, и тишина, глубокая, полная, лесная, лишь изредка прерывалась дальними разрывами или тарахтением одинокого грузовика.

Она была счастлива. Ей казалось, что Травкин смотрел на нее сегодня ласковее, чем всегда. И ей думалось, что всеильный командир дивизии, который относится к ней так доброжелательно, конечно, сможет убедить Травкина в том, что она, Катя, не такая уж плохая девушка и что у нее есть достоинства, которые можно ценить. И она в этой лунной ночи всюду искала своего любимого и шептала старые слова, почти такие же, как в Песни Песней, хотя она никогда не читала и не слышала их.

### *Глава пятая*

«Здравствуйте, товарищ лейтенант! Пишу вам я, Иван Васильевич Аниканов, ваш разведчик, сержант и командир первого отделения. Могу вам сообщить, что живу хорошо, чего и вам желаю от всей души. В госпитале мне вырезали пулю, каковая находилась в мягких тканях ноги. И из госпиталя попал я в запасный полк. Тут сперва плоховато было, потому что кормят похуже, чем на фронте, а я покушать люблю и к фронтовому пайку слишком привык. И приходилось целый день изучать военное дело и устав, все сначала, а также бегать, кричать «ура». Немцев же, конечно, нет, а стрелять — патронов не дают. И вот еще беда: взяли у меня мой пистолет «вальтер», что я отобрал, если помните, у



того немецкого капитана с черной повязкой на глазу. Ходил я жаловаться к здешнему комбату, но тот сказал, что сержанту пистолет не положен. А что я не просто сержант, а разведчик и таких пистолетов у меня перебывало, может, две сотни, он об этом и знать не хочет. Потом перевели меня в подсобное хозяйство, и вот тут мне живется, как зажиточному колхознику. У меня все есть — и сметана, и масло, и овощи всякие. Тем более я тут заместо главного, как бывший председатель колхоза. Значит, мы все пашем и сеем. И по вечерам, покушав и запивши молочком, лежу я на перине, а хозяйка так и ходит вокруг. И думаю я про вас, товарищ лейтенант Травкин, и про товарищей моих в моем взводе, вспоминаю наши боевые дела, а главное — мучения ваши и как вы бьетесь за нашу великую родину, и сердце обливается кровью. И прошу вас, товарищ лейтенант, поговорить с товарищем Сербиченко: может, он пошлет на меня требование, чтоб отпустили меня к вам. Не могу я здесь без вас, потому, товарищ Травкин, совестно, что не довел до конца эту войну вместе с вами, а живу, как зажиточный колхозник, и вроде вы меня защищаете от немца. С приветом к вам и ко всему нашему славному взводу

Иван Васильевич Аниканов».

В который раз перечитав это письмо, Травкин растроганно улыбнулся и снова вспомнил, каков был Аниканов и как хорошо было бы иметь его сейчас здесь, у себя. Чуть ли не с пренебрежением всматривался он в лица спящих разведчиков, сравнивая их с отсутствующим Аникановым.

«Нет, — думал Травкин, — эти все не такие, как он. Нет в них той спокойной отваги, неторопливости и ясного ума. В Аниканове я был всегда уверен. Он не знал, что такое паника. Мамошкин смел, но безрассуден и

корыстен. Быков рассудителен, но слишком. Бывают острые моменты, когда рассудительность не лучше трусости. Бражников недостаточно самостоятелен, хотя есть в нем и хорошие задатки. Голубь, Семенов и другие — еще не разведчики пока. Марченко — тот был человек, золотой человек, но он, очевидно, погиб и не вернется больше».

Одолеваемый этими горькими мыслями, не совсем, впрочем, справедливыми и навеянными взволновавшим его письмом Аниканова, Травкин вышел из овина в холодный рассвет. Он побрел к тому яру, который был им облюбован для тактических занятий с разведчиками.

Это место довольно точно воспроизводило подлинный передний край. Яр пересекался широким ручьем, над которым свесились уже зеленевшие плакучие ивы. Неглубокая траншея, вырытая разведчиками специально для занятий, и два ряда колючей проволоки обозначали передний край «противника».

На этом «театре» Травкин теперь еженощно проводил занятия. Со свойственным ему упорством он гонял разведчиков через студеной ручей вброд, заставлял их резать проволоку, щупать длинными саперными щупами невсамделишные минные поля и прыгать через траншею.

Вчера он придумал новую игру: посадив несколько разведчиков в траншею, он заставлял остальных ползать к ним как можно тише, чтобы приучить людей к бесшумному движению. Сам он тоже сел в траншею и прислушивался к ночным звукам, но мысли его были не здесь, а на подлинном переднем крае, где немцы успели возвести мощную систему инженерных заграждений, которые ему придется вскоре преодолевать. К тому же взвод получил пополнение — десять новых разведчиков, так что Травкину приходилось, кроме специальных занятий с отобранными им для операции людьми, заниматься

и с остальными да еще ежедневно наблюдать за противником на переднем крае, изучая его режим и поведение.

В результате этого непрерывного тяжелого труда он стал очень раздражителен. Ранее склонный прощать разведчикам мелкие грешки, он теперь наказывал их за малейшую провинность.

В первую голову досталось Мамочкину. Травкин строго спросил его, где он добывает всякую снедь. Мамочкин что-то пробормотал про добровольные даяния крестьян, и Травкин посадил его под арест на трое суток, сказав:

— Пусть местное крестьянство отдохнет от тебя хоть три дня.

Катю он вежливо, но твердо попросил пока (он так и сказал: «пока») посещения овина прекратить. Правда, он испытал некоторую неловкость, когда встретил ее испуганный взгляд, хотел было вернуть ее, но сдержался.

Но больней всего другого его уязвил небывалый случай с новичком Феоктистовым, высоким красивым парнем откуда-то из-под Казани.

В то утро шел дождь, и Травкин решил дать отдых разведчикам. Утром он вышел из овина и направился к блиндажу Барашкина, где переводчик Левин давал ему уроки немецкого языка. В кустарнике возле мельницы он увидел Феоктистова. Высокий, ладно скроенный Феоктистов лежал на траве голый по пояс, под проливным дождем. Травкин удивленно спросил, что это значит. Феоктистов, вскочив, смущенно ответил:

— Принимаю, товарищ лейтенант, холодные ванны... Так я и дома делал.

Этой же ночью, во время занятий по бесшумному ползанию, Феоктистов сильно закашлялся. Сначала Травкин не обратил внимания на это, но затем, когда Феок-

тистов раскашлялся снова, лейтенант все понял: Феоктистов нарочно старался простудиться. Из рассказов старых разведчиков он, конечно, знал, что человека, страдающего кашлем, на задание не возьмут, так как кашель может выдать всю группу немцам. Травкин никогда в своей короткой жизни не испытывал такого страшного приступа ярости. Ему стоило большого усилия воли не пристрелить этого высокого красивого испуганного подлеца тут же, при лунном свете, на глазах у недоумевающих разведчиков.

— Так вот что за холодные ванны, подлый трус!..

На следующий день Феоктистова отчислили.

Вспомнив этот случай, Травкин и теперь не мог избавиться от чувства гадливости.

Всходило солнце, и надо было идти на передний край. Взяв двух разведчиков, Травкин отправился в обычный путь, к реке.

Чем ближе к переднему краю, тем напряженнее и сдавленное воздух, словно это атмосфера не Земли, а какой-то неизмеримо большей неведомой планеты. Мощные всплески пулеметного огня, оглушительное кряхтенье минометных разрывов, а затем недобрая тишина, чреватая новыми возможностями внезапной смерти. Гуськом, в зеленых халатах, мимо разбитых снарядами деревьев, мимо позиций артиллерии, разведчики подходили все ближе и ближе к войне.

В траншеях второго батальона Травкина встретил Мамочкин. После гауптвахты Травкин прислал его сюда для постоянного пребывания старшим на наблюдательном пункте — «поближе к немцам, подальше от кур». Лихо пристукнув каблуками, Мамочкин передал ему схему наблюдения и записи о поведении противника за прошедшие сутки.

Из пулеметного дзота Травкин наблюдал в стереотрубу немецкий передний край. В его дзот обычно заходили командир батальона капитан Муштаков и артиллерист капитан Гуревич. Они знали о предстоящей задаче Травкина, и он не без досады читал в их глазах какое-то извиняющееся выражение: тебе, мол, итти туда, а мы вот спокойно сидим в защищенных накатами блиндажах.

Даже их предупредительность, постоянная готовность помочь ему раздражали его. Он внутренне протестовал против их мыслей, похожих на смертный приговор ему. Он усмехался, глядя в стереотрубу, и думал: «Подождите, друзья, еще вас переживу».

Не то чтобы он желал им зла — наоборот, оба они были ему глубоко симпатичны. Молодой и красивый Муштаков был лучшим комбатом в дивизии. Особенно нравился Травкину всегда вежливый и опрятный при всех обстоятельствах артиллерист, с его выдающимися математическими способностями. Его батарея стреляла исключительно метко и наводила страх на немцев. Гуревич целыми днями слонялся по траншее, неотступно, с постоянством ненависти наблюдая за немцами, и всегда давал Травкину ценнейшие данные. В Гуревиче он угадывал свойственный и ему, Травкину, фанатизм при исполнении долга. Не думать о своей выгоде, а только о своем деле — так был воспитан Травкин, и так же был воспитан Гуревич. Они и называли друг друга «земляками», ибо они были из одной страны — страны верующих в свое дело и готовых отдать за него жизнь.

Травкин пристально смотрел на немецкие траншеи и проволочные заграждения, мысленно фиксируя малейшие неровности почвы, направление огня немецких пулеметов, редкое движение немцев по ходам сообщения.

С чувством, похожим на подлинную зависть, смотрел

он на черных грачей, безнаказанно перелетавших с нашего переднего края на немецкий и обратно. Для них эти грозные препятствия не существовали. Вот кто мог рассказать обо всем, что творится на немецкой стороне! Он мечтал о говорящем граче, граче-разведчике, и если бы сам мог превратиться в такого, с радостью простился бы со своим человеческим обликом.

Насмотревшись до одури и сделав необходимые заметки, Травкин оставил для наблюдения разведчиков, а сам ушел в блиндаж Муштакова.

Здесь собрались молодые командиры взводов, только что окончившие где-то в тылу военные училища и прибывшие на фронт. Это были младшие лейтенанты, одетые во все новое, обутые в керзовые сапоги с широкими голенищами.

Они встретили его уважительным молчанием, прервав шумный разговор. Сев за столик, Травкин чувствовал на себе любопытные взгляды молодых офицеров и думал о них.

Будучи примерно одних лет с ними, он чувствовал себя гораздо старше. Ему приятно было сознавать, что он немало уже сделал. Погибни он, бойцы будут горевать, его помянет даже командир дивизии. «И эта девушка, — подумал он вдруг, — эта Катя».

Так он, сам, быть может, накануне гибели, с чувством превосходства и снисходительной жалости наблюдал за молодыми лейтенантами.

Один из них, юноша с большими голубыми глазами, восторженно глядевшими на Травкина, особенно понравился ему. Встретив взгляд Травкина, он робко сказал:

— Возьмите меня с собой. Я с удовольствием пойду в разведку.

Так он и сказал: «с удовольствием». Травкин улыбнулся:

— Ладно, я попрошу начальника штаба дивизии, чтобы вас пустили со мной. У меня людей маловато.

Придя в штаб дивизии, он действительно обратился к подполковнику Галиеву с этой просьбой. Галиев согласился и велел позвонить об этом в полк.

Так в овине поселился младший лейтенант Мешерский, стройный голубоглазый двадцатилетний мальчик в широченных керзовых сапогах. В его чемоданчике лежало несколько книг, и в свободное от занятий время он нараспев читал разведчикам стихи, а они, сидя в полумраке овина, с серьезными лицами вслушивались в складные, округлые слова, удивляясь искусству поэта и вдохновенному румянцу Мешерского.

Когда не было Травкина, в овин приходила Катя. Мешерский встречал ее приветливо, здороваясь за руку и вежливо приглашая садиться. Это нравилось разведчикам и немного смешило их, отвыкших от такого вежливого обращения.

Как-то раз Мешерский сказал Травкину:

— Замечательная девушка эта связистка!

— Какая?

— Катя Симакова. Она часто приходит сюда.

Травкин промолчал.

— Вы разве не знаете ее? — спросил Мешерский.

— Знаю. А чем она замечательна, по-вашему?

— Добрая она. Разведчикам стирает. Они ей письма из дому читают, делятся с ней своими новостями. Когда она приходит, все очень довольны. Поет красиво.

В другой раз Мешерский с обычной своей восторженностью сказал:

— Да она же вас любит! Честное слово, любит! Неужели вы не замечали? Это же так ясно... Как это хорошо! Я очень рад за вас.

Травкин натянуто улыбнулся:

— Вы почему это знаете? Она вам сказала, что ли?

— Нет, зачем... Я и сам заметил. Замечательная девушка, я вам говорю!

— Да она любого полюбит, — сказал Травкин грубо.

Мещерский болезненно сморщился и даже руками замахал:

— Что вы, что вы!.. Как вы можете так думать? Неправда!

— Пора на ночные занятия, — прервал Травкин этот разговор.

Мещерский занимался ревностно, находя во всем, что делал, почти детское удовольствие. Он ползал до изнеможения, храбро лез в студеной ручей и целыми ночами готов был слушать бесконечные рассказы о боевых делах взвода.

Мещерский все больше нравился Травкину, и, одобрительно глядя на голубоглазого юношу, он думал: «Это будет орел...»

### *Глава шестая*

— Значит, завтра ночью выступаем. Дай бог, чтобы ночь была темная — это для разведчиков главней всего, — разглагольствовал Мамочкин, рисуясь перед молодыми разведчиками.

Он порядочно выпил. Ввиду предстоящей операции он был отпущен Травкиным с переднего края отдыхать и сразу пошел к «своему» старику-вдовцу. Он принес в овин крынку с медом, консервную банку с маслом, яйца и килограмма три вареной свиной колбасы. На робкие возражения старика по поводу размеров требуемой дани Мамочкин с некоторой грустью отвечал.

— Ничего, старик! Не исключена возможность, что



я никогда больше не приду к тебе. Попаду же я, конечно, в рай. А там твою бабушку встречу, расскажу, какой ты добрый человек. Ты лучше не спорь. Я с тебя, может, последний взнос получаю...

В связи с особыми обстоятельствами Мамочкин решил даже рассекретить свою «базу». Он взял с собой Быкова и Семенова и, нагрузив их продуктами, самодовольно улыбался, ежеминутно спрашивая:

— Ну как?

Семенов восхищался непостижимой, почти колдовской удачливостью Мамочкина:

— Вот здорово! Как ты это так?..

Быков же, догадываясь о том, что тут дело нечисто, говорил:

— Гляди, Мамочкин, лейтенант узнает!

Проходя мимо старикова поля, Мамочкин покосился на «своих» лошадей, запряженных в плуг и борону. За лошадьми шли сын старика, сутулый молчаливый идиот, и сноха, красивая высокая баба.

Мамочкин обратил внимание на большую гнедую кобылу с белым пятном на лбу. Он вспомнил, что эта лошадь принадлежала той странной старухе, у которой взвод останавливался на отдых.

«Ну и ругается та божья старушка!» промелькнуло в голове у Мамочкина, и он испытал даже нечто похожее на угрызения совести. Но теперь все это было уже не важно. Впереди — задание, и кто его знает, чем оно кончится.

Придя в овин, Мамочкин увидел Травкина, который сидел у старой молотилки с карандашом в руке, собираясь писать письма матери и сестре. Мамочкин вдруг побледнел и тихо подошел к лейтенанту. В глазах Мамочкина появилась необычная робость. Травкин с удивлением посмотрел на него.

— Товарищ лейтенант, — сказал Мамочкин, — а как рация? Будет с нами рация?

— Будет. Бражников пошел за ней.

— А радист?

— Я сам буду передавать радиogramмы. Радиста брать не стоит. Еще трус попадется или вообще неумелый солдат. Нет, мы сами обойдемся, я в радио понимаю немного.

— Ага...

Мамочкину явно не о чем было больше говорить, но он не уходил.

— Товарищ лейтенант, — промямлил он, — хотите свиной колбаски?

Он рассчитывал, что Травкин накинется на него: снова, мол, крестьян грабишь?! Но Травкин коротко поблагодарил, отказался и снова принялся за письмо. Тогда Мамочкин решился. Внезапно дрогнувшим голосом он сказал:

— Товарищ лейтенант, не пишите письмо.

Травкин удивленно спросил:

— Что с тобой?

Мамочкин ответил скороговоркой:

— Вот так же, на молотилке, писал Марченко перед уходом. Это плохая примета. У нас на море рыбаки приметам верят... и, честное слово, правильно делают.

Травкин насмешливо, но мягко сказал:

— Брось, Мамочкин, эти бабьи сказки.

Когда Мамочкин отошел, Травкин снова взялся за карандаш, но тут его взгляд вдруг упал на темную кучу соломы неподалеку от входа. У изголовья этой военной постели лежал небольшой, потемневший от времени, пота и непогоды вещевой мешок. То была постель Марченко.

Травкин так и не закончил письма. Пришел Бражников, неся маленькую рацию. Вслед за ним явились начальник связи дивизии майор Лихачев, Катя и два других радиста. Лихачев еще раз объяснил Травкину правила пользования кодированной картой и таблицей:

— Гляди, Травкин: танки противника обозначаются цифрой «сорок девять», пехота — цифрой «двадцать один», а карта расчерчена на квадраты. Вот, например, нужно сообщить, что танки вот в этом районе. Ты передаешь: «сорок девять квадрат Бык четыре». Если пехота, значит: «двадцать один Бык четыре», и так далее.

Они устроили последнее тренировочное занятие. Позывная разведгруппы была окончательно установлена: «Звезда». Позывная дивизии — «Земля».

В тишине овина раздались странные слова, полные таинственного значения. Разведчики, стоявшие молча вокруг Лихачева и Травкина, с невольным трепетом прислушивались к этому разговору:

— Земля, Земля, слушай Звезду. Говорит Звезда. Двадцать один Буйвол три. Двадцать один Буйвол три. Прием.

И Лихачев, тоже взволнованный, замогильным голосом отвечал:

— Звезда, Звезда! Земля у аппарата. Правильно ли я понял? Повторяю: двадцать один Буйвол три. Прием.

— Земля, у аппарата Звезда. Понял правильно. Дальше. Сорок девять Тигр два.

Под темными сводами овина раздавался таинственный межпланетный разговор, и люди чувствовали себя словно затерянными в мировом пространстве. А ласточки, выющие гнезда под крышей овина, весело шелестели крыльями, ведя свой семейный беззаботный разговор.

Напоследок Лихачев крепко пожал руку Травкину и спросил.

— Может, возьмешь все-таки с собой радиста? Ребята у меня хорошие и просятся в разведку. Сегодня я даже получил, — он улыбнулся немного сконфуженно, — докладную от младшего сержанта Симаковой. Она с тобой хочет итти.

Травкин нахмурился и сказал:

— Да что вы, товарищ майор! Не нужно мне радиста. Не на прогулку идем.

Катя, услышав такой оскорбительный отказ в ответ на свою горячую просьбу, выбежала из овина. Она была глубоко уязвлена презрительными словами Травкина. «Какой грубый, нехороший человек! — думала она о Травкине, и раздражение накалило в ней. — Только дура может полюбить такого...»

Проходя мимо блиндажа капитана Барашкина, она замедлила шаги. «Вот возьму назло и зайду». Она с внезапной приязнью вспомнила неотступные слашавые ухаживания Барашкина, его предупредительность и страшно обычные, но всегда приятные для одинокого сердца любовные объяснения. Даже его толстую тетрадь с выписанными в ней стихами и песнями она вспомнила теперь с теплым чувством. В Барашкине все было обычно, просто и ясно, и это казалось ей теперь именно тем самым, что нужно человеку для счастья.

Она зашла. Барашкин встретил ее немного удивленной, но довольной улыбкой. Он смутно подумал о том, что вот Травкин уходит и она, хитрая девчонка, решила пока хоть его, Барашкина, не упустить. Появилась и барашкинская заветная тетрадка: тут были и песенки из кинофильмов и разные чувствительные романсы. Впрочем, Кате не пелось сегодня.

Барашкин всячески старался выжить из блиндажа переводчика Левина. Но когда Левин ушел и Барашкин, сладко улыбаясь, обнял Катю, ей вдруг стало невыноси-

мо противно, и, оттолкнув его, она выбежала из блиндажа в шумящий лес. Нет, это «обычное» было ей чуждо и отвратительно. Глаза ее были полны слез.

Травкин между тем имел весьма неприятный разговор.

Спокойный, незаметный, чуть рябой, зашел в овин следователь прокуратуры капитан Еськин. Это уже был не межпланетный разговор. Следователь уселся с Травкиным за плащ-палатками и стал подробно расспрашивать его: как и когда лошади были взяты, на каком основании взяты, когда и при каких обстоятельствах отосланы обратно и почему не получена назад расписка...

Травкин угрюмо, но обстоятельно рассказал, как было дело. Когда речь зашла о расписке, он на минуту задумался вспоминая. Ах да, двух лошадей, задержанных еще на сутки, отводил Мамочкин. Он вызвал Мамочкина, но того в овине не оказалось. Следователь сказал, что придет позднее. Перед уходом он как бы невзначай оглядел овин, увидел белую скатерть, покрывающую постель Мамочкина в отличие от других постелей, покрытых плащ-палатками, ничего не сказал, ушел.

Когда Мамочкин появился в овине, Травкин вызвал его к себе, но в последний момент, пораздумав, ничего не спросил о лошадях — ведь Мамочкин должен был итти с ним выполнять задачу. Лейтенант спросил только, где пропадал Мамочкин последние два часа. Тот ответил, что у саперов. На этом разговор кончился.

Травкин вместе с Мещерским пошел в гости к Бургоркову. По дороге Мещерский, чем-то обеспокоенный, вдруг сказал:

— Травкин, как хотите, я пойду позову Катю. Вы не видели, а я видел. Мне очень ее жалко. Она ушла в ужасном состоянии. Ах, Травкин, вы напрасно обидели ее!

Он пришел в блиндаж к Бугоркову, ведя за руку совсем оробевшую Катю. Все же она заметила виноватый взгляд Травкина.

Это был восхитительный вечер, полный радужных надежд для Кати. Для Травкина он окончился неожиданным счастливым событием.

Оживленную беседу прервал запыхавшийся Бражников, вбежавший в блиндаж. Его глаза блестели, он забыл надеть пилотку, и прямые льняные волосы падали ему на лоб.

— Товарищ лейтенант, вас зовут! Идемте скорее, там увидите...

Возле овина была радостная суета. Разведчики бросились к Травкину, крича:

— Смотрите, кто приехал!

Травкин остановился.

Широко улыбаясь, поблескивая мудрыми глазками, к нему шел Аниканов. Не решаясь обнять лейтенанта, он затоптался на месте:

— Вот, значит, товарищ лейтенант, приехал.

Ошеломленный, смотрел Травкин на Аниканова. Сказать он ничего не мог. Он вдруг ощутил огромное чувство облегчения. И в это мгновение он по-настоящему понял, в какой бездне сомнений и неуверенности находился последние недели.

— Как же ты? Совсем или проездом в другую часть? — спросил он, когда они наконец уселись за столик.

Аниканов ответил:

— Направление у меня в другую часть, да я от поезда отстал: дай, думаю, погляжу на свой взвод и на своего лейтенанта. Мне солдат один проезжий из нашей дивизии сказал, что вы здесь попржнему. — Он помолчал, потом закончил улыбувшись: — А там видно будет.

Аниканову поднесли водки и закусить, и Травкин с наслаждением смотрел, как он медленно ест — с чувством, но без жадности, после каждого блюда благодаря подающего повара Жилина с милой сердцу деревенской учтивостью. Так же медленно рассказал он, как, закончив посевную в подсобном хозяйстве запасного полка, попросился на фронт, и вот его и послали с маршевой ротой.

— Значит, идете к немцу в тыл? — переспросил он лейтенанта. — А кто с вами?

— Вот младший лейтенант Мешерский, Мамочкин, Бражников, Быков, Семенов и Голубь.

— А Марченко? Марченко-то где?

Он осекся, увидя потемневшие лица окружающих. Узнав, в чем дело, он осторожно отодвинул тарелку, закрутил цыгарку и сказал:

— Что ж... вечная ему память.

Замолчали. И тогда Травкин, исподлобья оглядев Аниканова, спросил:

— А ты как? Пойдешь со мной или по своему направлению в часть?

Аниканов ответил не сразу. Ни на кого не глядя, но чувствуя, что окружающие его люди с напряжением ожидают ответа, Аниканов сказал:

— Думаю с вами пойти, товарищ лейтенант. Придется тогда в мою часть написать, что не дезертир, дескать, сержант Аниканов. В общем, написать все, что нужно.

Мамочкин, стоя в дверях овина, слушал разговор со смешанным чувством восхищения и зависти. Так мог только Аниканов, это было ясно. Стоило отдать жизнь за то, чтобы оказаться в этот момент Аникановым.

Аниканов огляделся, увидел плащ-палатки на соломе, зеленые маскхалаты, кучку гранат в углу, висящие

на гвоздях автоматы, ножи на поясах бойцов и подумал со вздохом философа и жизнезнавца: «Вот мы и дома».

Травкин, успокоенный и подобревший, развернул карту, чтобы объяснить Аниканову суть их задачи и план действий, но посыльный из штаба, внезапно появившись в дверях овина, передал ему приказание итти к командиру дивизии. Поручив Мещерскому ввести Аниканова в курс дела, Травкин пошел к полковнику.

В избе комдива было темновато. Полковник Сербиченко хворал и, лежа на койке у окна, слушал доклад начальника штаба.

— Да ты в лаптях! — обратил он прежде всего внимание на необычную обувь Травкина.

— Привыкаю, товарищ полковник. У меня Семенов, рязанец, сплел лапти для моей группы. Бесшумно ходишь, и ногам легко.

Полковник одобрительно заворчал и торжествующе посмотрел на подполковника Галиева: гляди, мол, что за умные ребята эти разведчики!

Полковник Сербиченко уже много раз отправлял людей на рискованные дела, но сегодня ему стало почти жалко этого Травкина. Он подумал о том, что вот полковник Семеркин был прав, но для армейских разведка — просто вид штабной службы со сводками, донесениями, картами обстановки и решением задач крупного масштаба; для него же кое-что значил и этот человек в лаптях, в зеленом маскхалате, молодой, небритый, похжий на красавца лешего.

Его так и подмывало сказать Травкину то, что обычно говорят отец и мать, отправляя сына на опасное дело.

«Береги себя, — сказал бы он Травкину. — Дело делом, а не при на рожон. Будь осторожен. Скоро войне конец».



Но он сам был когда-то разведчиком и прекрасно знал, что такого рода напутствия к добру не приводят: они расхолаживают даже самых верных своему долгу людей. При выполнении задачи люди многое могут забыть, но этих слов: «береги себя», сказанных старшим начальником, человек никогда не забудет, а это почти наверняка провал всего дела. И полковник, пожав руку Травкину, сказал только:

— Смотри...

### *Глава седьмая*

Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, — разведчик отрешается от житейской суеты. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты, нож и кладет за пазуху пистолет, отныне полагаясь только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого, храня все это только в сердце своем.

Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу.

Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть.

Выслав вперед своих людей, Травкин в сопровождении Мещерского и Бугоркова пошел к переднему краю.

Мещерский имел несчастный вид. Дело в том, что подполковник Галиев, узнав о приезде Аниканова, после короткого размышления решил оставить Мещерского здесь — заместителем Травкина.

— Мало ли что может случиться, а разведчики без офицера остаются, — сказал он комдиву, и тот согласился с ним.

Шагая по лесным просекам, трое офицеров вполголоса разговаривали. Собственно, говорил Бугорков: опечаленный Мещерский слушал, а Травкин глядел вперед отсутствующим взглядом.

— Скорее бы войне конец! — ни с того ни с сего вдруг закончил Бугорков, сбоку глядя на серьезный профиль Травкина.

Травкин молчал. Выходя на задание, он становился особенно молчаливым. Это напускное спокойствие, почти сонливость, стоило ему немалых усилий воли. Он как бы выражал всем своим видом: все, что можно было сделать, сделано, а там пусть идет, как идет.

На широком гребне, поросшем молодым ельником, располагались огневые позиции одной из батарей артиллерийского полка.

Артиллеристы возились подле вкопанных в землю орудий. Завидев Травкина, они замахали руками и закричали:

— Опять на работу?

— Опять, — скупое ответил Травкин.

В траншее его ожидали. Там были капитан Муштков, капитан Гуревич и командиры двух минометных рот. Аниканов и другие разведчики сидели на корточках в траншее и тихо разговаривали.

Капитан Гуревич уточнил взаимодействие:

— Значит, я делаю артналет по цели номер шесть для отвлечения внимания немцев. Смотрите, Травкин,

не уклоняйтесь влево, а то попадете под мои разрывы. Вслед за тем я ударю вместе с минометчиками по цели номер четыре. В случае вашей красной ракеты бью по целям второй, третьей, четвертой, пятой и седьмой и прикрываю ваш отход.

— Минометчики пристрелялись? — спросил Травкин.

— Да, все готово, — заверили минометчики.

— Готовы и мои пулеметы на всякий случай, — сказал Муштаков.

Все были заметно взволнованы.

Травкин высунулся за бруствер и прислушался к немецкому переднему краю. Где-то там, далеко, патефон играл фокстрот. Левее то и дело вздымались к небу белые осветительные ракеты.

Он спрыгнул обратно в траншею, повернулся к своим разведчикам и саперам и сказал:

— Слушайте боевой приказ.

Разведчики медленно встали.

— Противник обороняет этот участок силами сто тридцать первой пехотной дивизии. По имеющимся данным, в глубине его обороны происходит перегруппировка. Командир дивизии приказал произвести разведку в тылу противника, выяснить характер этой перегруппировки, наличие резервов и танков противника и сообщить все данные командованию по радио.

Объяснив разведчикам порядок движения и сообщив им, что заместителем своим он назначает Аниканова, Травкин молча кивнул остающимся в траншее офицерам, перелез через бруствер и бесшумно двинулся к берегу реки. Затем то же самое один за другим проделали Бражников, Мамочкин, Голубь, Семенов, Быков и три сапера, выделенных для сопровождения группы. Последним исчез Аниканов.

Оставшиеся в траншее постояли несколько минут



неподвижно. Затем Гуревич, вдруг длинно и замыслова-то выругавшись, попросил Муштакова дать ему водки и действительно выпил, гадливо морщась, полный стакан. Гуревич никогда не ругался и никогда не пил водку. Муштаков удивился, но промолчал.

А Травкин между тем остановился в низком кустарнике у самого берега. Разведчики ждали, но Травкин почему-то медлил. Так они стояли минуты три. Внезапно немецкая белая ракета врезалась в темноту, с шипением распалась на ослепительные кусочки, осыпала молочным светом речушку, а затем погасла так же внезапно. Этого, видимо, и ждал Травкин. Он вошел в темную холодную воду реки, следом за ним остальные. Быстро пройдя речку, они в тени ее западного берега снова остановились и переждали вспышку очередной ракеты. Затем Травкин пустил вперед саперов, а сам с разведчиками пошел следом.

Миновав ложбинку, оказавшуюся гораздо более обширной, нежели представлялось Травкину при наблюдении, саперы остановились. Тут начинались минные поля.

Щупая землю длинными шестами и прислушиваясь к миноискателю, висящему на груди у одного из них, саперы медленно пошли вперед.

Снова вспыхнула ракета. Инстинктивный страх прижал разведчиков к земле. Они лежали на высоком ровном месте, и им казалось, что их видит весь мир в этом страшном, безжизненном свете ракеты. Но ракета погасла, и всюду была тишина.

Саперы, осторожно действуя руками в темноте, отвинтили взрыватели с нескольких мин. Мощная пулеметная очередь трассирующих пуль пронеслась над головами и умчалась вдаль. Разведчики замерли. Такая же очередь пронеслась левей, сопровождаемая сухим треском. С наших позиций тоже одиноко затарахтел

«максимка», и пули его — последний привет от своих — прошелестели где-то справа.

Передний сапер увидел в темноте проволоку и обернулся к Травкину, ползущему за ним. «Давай!» шепнул Травкин. Саперы начали резать проволоку большими ножницами, и тут опять зажглась ракета, а следом за ней снова пронеслась волна быстро мелькающих в кромешной темноте трассирующих пуль.

В свете ракеты Травкин разглядел немецкий бруствер, какие-то бревна, наваленные поблизости, опушку леса за второй траншеей и три ободранных снарядами дерева — его обычный ориентир во время наблюдения. Он несколько уклонился вправо. Компас в наступившей темноте зеленым фосфором показывал азимут. Вокруг стояла ночная тишина. Однако он знал, как она обманчива и сколько глаз, может быть, следят за тобой в этом мраке. Он даже легонько вздрогнул от прикосновения руки сапера к его плечу. Ага, проволока разрезана! Саперы останутся здесь, чтобы охранять проход на случай, если Травкину и его людям придется отходить. Если же все будет тихо, они могут через полчаса ползти «домой».

Один из них на прощание крепко пожал руку Травкину. Глазами, уже привыкшими к темноте, Травкин внимательно взглянул на него, увидел большие усы и темные впадины добрых глаз. «Меджидов, — узнал его Травкин, — лучший сапер дивизии. Бугорков не покусился».

Разведчики поползли сквозь прорезанную проволоку и уже почти у самого немецкого бруствера замерли: слева раздались взрывы. Земля тяжело задрожала. Через секунду взрывы раздались справа. «Гуревич дает», подумал Травкин.

Он услышал слева немецкий говор. Аниканов и

Бражников уже были в траншее. Говор приближался. Травкин затаил дыхание. Два немца шли по ходу сообщения совсем близко. Один из них что-то ел — слышалось громкое чавканье. Они повернули в другую сторону. Над бруствером показался Аниканов. Он помог Травкину соскочить вниз.

Все семеро рядышком стояли в немецкой траншее.

Травкин прислушался, затем пошел по ходу сообщения, из которого только что вышли эти два немца. Ход сообщения разветвлялся. На повороте Травкин вдруг почувствовал предупреждающую руку идущего впереди Аниканова. Вдоль бруствера шел немец. Разведчики прижались к стенке траншеи. Немец исчез в темноте. Пока все шло хорошо. Только бы им выбраться в лес!

Травкин вылез из хода сообщения и осмотрелся. Он узнал темные очертания домика лесника, виденного им часто в стереотрубу. Возле дома находится немецкий пулеметный дзот. Оттуда и доносятся голоса о чем-то спорящих немцев. Прямо должна быть дорога в лес. Левее же дороги — бугор с двумя соснами, а слева от бугра — болотистая низина. По этой низине и нужно пройти.

Через час разведчики углубились в лес.

Мещерский с Бугорковым, стоя в траншее, неотрывно вглядывались в ночь. То и дело к ним подходили Муштаков или Гуревич, негромко спрашивая: «Ну как?»

Нет, красная ракета — сигнал «Обнаружены, отходим» — не появлялась. Раза три начинали работать немецкие пулеметы, но это была, повидимому, обычная стрельба «на бога». Мещерский, Бугорков, оба капитана и дежурящие в траншее молчаливые солдаты пристально вглядывались в реку, в ее западный высокий берег, в

камыши, в кустарник, в немецкую проволоку, в немецкий бруствер. Но ничего не было видно особенного, ровным счетом ничего.

— Чорт возьми! — восхищенно сказал Муштаков. — Как лешие.

— Прошли, кажется, — облегченно вздохнул Мещерский и вдруг почувствовал, что он весь в поту.

Капитана Муштакова вызвал по телефону штаб дивизии. Телефонист не без волнения сказал:

— С вами будет говорить шестьсот.

Из ночной дали раздался знакомый всей дивизии глубокий голос полковника Сербиченко:

— Ну, как Травкин?

— Кажется, все в порядке, товарищ шестьсот.

— Значит, у тебя тихо?

— Тихо, товарищ шестьсот.

— Люди Бугоркова еще не вернулись?

— Нет еще, товарищ шестьсот.

Комдив секунду помедлил, потом сказал:

— Что ж, хорошо. Иди спать, Муштаков.

— Есть итти спать.

Потом снова, после некоторого молчания:

— Значит, немец спокоен?

— Тишина.

— Ракеты?

— Да, но не очень часто.

— Постреливает?

— Временами.

— Но не так, чтобы...

— Нет, нет, товарищ шестьсот. Нормально, как всегда.

Положив трубку, Муштаков сказал:

— Тревожится старик.



Это был холодный и туманный рассвет, полный зябкого птичьего щебетанья.

Вопреки сведениям, имевшимся в дивизии, леса кишели немцами: куда ни глянь — огромные грузовики, еще более огромные автобусы, тяжелые пароконные повозки с высоченными бортами. И повсюду спали немцы. По лесным просекам ходили парные патрули, гортанно разговаривая. Единственной защитой разведчиков была непроглядная тьма, но и она могла предать в любое мгновение. Ночь вспыхивала на миг то спичкой, то карманным фонарем, и Травкин, а вслед за ним и остальные прижимались к земле, горевшей под их ногами. Часа полтора пришлось провести среди груды сваленных деревьев, в колючей елочной хвое. Какой-то немец, шлепая босыми ногами и светя карманным фонарем, вплотную подошел к Травкину. Свет фонаря был направлен чуть ли не в самое лицо Травкина, но заспанный немец ничего не заметил. Он сел оправляться, кряхтя и вздыхая.

Мамочкин взялся за нож. Травкин не увидел, но почувствовал это молниеносное движение Мамочкина и перехватил его руку.

Немец ушел. Уходя, он осветил фонариком кусок леса, и Травкин, приподнявшись, успел выбрать путь среди деревьев, где немцев, кажется, было меньше.

Нужно поскорее выбраться из этого леса.

Километра полтора ползли они чуть ли не по спящим немцам. На ходу выработалась определенная тактика. Как только поблизости показывался патруль или просто бредущие по своим делам солдаты, разведчики ложились на землю. Их даже два раза освещали фонарем, но принимали, как Травкин и предполагал, за

своих. Так они, ползая, притворяясь спящими немцами и снова ползая, выбрались из леса, и на опушке их застал этот туманный рассвет.

Тут случилось нечто страшное: они буквально напоролась на трех немцев — на трех не спавших немцев. Эти трое полулежали на грузовой автомашине и, кутаясь в одеяла, разговаривали между собой. Один из них, случайно бросив взгляд на ближнюю опушку, остолбенел: по тропе, совершенно бесшумно и не глядя по сторонам, какой-то странной печальной чередой шли семь необычно одетых людей — не людей, а семь теней в зеленых балахонах, со смертельно серьезными, до жути бледными, почти зелеными лицами.

Нездешний вид этих зеленых теней, а может быть, неясные очертания их фигур в утреннем тумане произвели на немца впечатление чего-то нереального, колдовского. Он сразу даже не подумал о русских, не связал это видение с мыслью о противнике.

— Grüne Gespenster! <sup>1</sup> — испуганно пробормотал он.

Если бы Травкин или кто-нибудь из его людей сделал хоть малейшее движение удивления или испуга, хоть малейшую попытку к нападению или защите, немцы, вероятно, подняли бы тревогу и эта туманная лесная опушка превратилась бы в арену короткой и кровавой схватки, где все преимущества были на стороне многочисленных врагов. Спасло Травкина его хладнокровие. Он моментально рассудил, что пока его видят только три немца, ему нет никакого расчета первому лезть в драку, а достигнув ближайшей рощи, где немцев, быть может, нет, он имеет шанс спастись даже в том случае, если эти трое поднимут запоздалую тревогу. Бежать он тоже не решился. Он скорее инстинктом, чем разумом, понял, что бежать нельзя, как нельзя бежать от собаки:

---

<sup>1</sup> Зеленые призраки!

она сразу поймет твой страх и подымет оглушительный лай.

Разведчики прошли ровным, неспешным шагом мимо сторопевших немцев.

Скрывшись в роше, Травкин лихорадочно осмотрелся, оглянулся и побежал. Они быстро перебежали рошу, очутились на лугу и, вспугнув болотных птиц, углубились в следующую рошу. Здесь они отдышались. Аниканов, пошныряв кругом, установил, что немцев не видно. Обессиленные, они уселись на траву, закурили, и Травкин впервые со вчерашнего вечера открыл рот:

— Чуть не попались, — и улыбнулся.

Ему трудно было говорить, язык не поворачивался — так отвык он разговаривать за эту ночь.

Они имели удовольствие видеть, как человек десять немцев цепочкой осторожно прочесали оставленную разведчиками рошу и, выйдя на западную ее опушку, довольно долго приглядывались к болотистому лугу, по которому только что пробежали разведчики. Затем немцы собрались в кучку, поговорили, посмеялись — очевидно, над теми тремя, которым померещились эти зеленые призраки, — покурили и ушли.

Новички — Семенов и Голубь — смотрели на немцев с пренебрежительным удивлением. Они впервые видели врага так близко. Травкин же, в свою очередь, пристально следил за новичками. Они вели себя хорошо, делая то, что делали другие. Семенов, хоть и молодой разведчик, был опытным солдатом, имел два ранения и приобрел за войну обычное солдатское хладнокровие. Маленький юркий Голубь, семнадцатилетний паренек из Курска, сын повешенного немцами советского работника, находился непрерывно в приподнятом настроении. Его юная душа странно совмещала в себе реальную ненависть к убийцам отца с романтическими историями о следопытах,

индейцах и дерзких путешественниках и, попав в эти необычайные условия, вся трепетала от восторга.

Мамочкин не мог не оценить железной выдержки Травкина и вдруг, впервые за последние дни, преисполнился уверенности в успехе опасного предприятия. Он вспомнил свое вчерашнее прощание с Катей. Она просила его беречь лейтенанта, а он, самодовольно улыбаясь, успокоительно хлопал ее по спине и говорил:

— Не сомневайся, Катюша! С Мамочкиным твой лейтенант, как в Государственном банке.

«Пожалуй, наоборот: с этим лейтенантом Мамочкину не пропасть», сознался теперь перед своей совестью Мамочкин и смотрел на Травкина повеселевшими, снова слегка нахальными глазами. Он роздал всем по куску колбасы, причем Травкину дал самый большой кусок и налил ему из фляги целую кружку самогону.

Окончательно убедившись, что в роще немцев нет, и выставив на всякий случай охрану, Травкин снял со спины Бражникова рацию и передал первую радиограмму.

Он долго не мог добиться ответа. В эфире раздавался треск и смутный гул, доносились обрывки разговоров и музыки, а по соседству со своей волной он уловил твердую и жесткую немецкую речь. Услышав ее, Травкин невольно вздрогнул: такое близкое соседство волн, казалось, может открыть немцу тайну Звезды.

Наконец он услышал неявственный отклик — голос, твердивший одно и то же слово:

— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда...

И Травкин и далекий радист Земли — оба радостно вскрикнули.

— Передаю, — сказал Травкин. — Двадцать один Филин два. Двадцать один Филин два.

Далекая Земля, помолчав, сообщила, что она поняла. Хорошо поняла.

— Много, очень много двадцать один, — твердил Травкин, — только что прибывшая двадцать один.

Земля и это поняла и повторила, как эхо: «Много, очень много двадцать один».

Все повеселели. Пройти такой передний край, а затем начиненные немцами леса и потом связаться по радио и передать своим об этих немцах — нет, так стоит жить!

Травкин еще и еще раз всматривался в лица товарищей. Это были уже не подчиненные, а товарищи, от каждого из них зависела жизнь всех остальных, и он, командир, ощущал их уже не чужими, отличными от него людьми, а частями своего собственного тела. Если на Земле он мог предоставить им право жить своей отдельной жизнью, иметь свои слабости, то здесь, на этой одинокой Звезде, они и он составляли одно целое.

Травкин был доволен собой — собой, увеличенным в семь раз.

Посоветовавшись с Аникановым, он решил тут же двинуться дальше, к тому предуказанному планом населенному пункту, где скрещиваются железная и шоссейная дороги. Правда, двигаться днем опасно, но можно было держаться болот и лесов, подальше от проезжих дорог и деревень. Обычно немцы таких мест избегают.

Однако, очутившись на западной опушке рощи, разведчики сразу же увидели немецкий отряд, идущий по болотистому проселку. На немцах были не темнозеленые, а черные мундиры. Грозно поблескивало пенсне шагавшего впереди офицера.

— Эсэсовцы, — прошептал Аниканов.

За эсэсовским отрядом проследовал обоз из двадцати огромных повозок, доверху нагруженных кладью.



Углубившись в ближайший лес, разведчики заметили свежие следы гусениц и, осторожно двигаясь по следам, подошли к лесной поляне, по краям которой, замаскированные, стояли гусеничные бронетранспортеры, двенадцать штук. Свежая пыль на гусеницах показывала, что они прибыли недавно. Это заметно было и по поведению немцев, которые шумно бегали по лесу, пилили деревья, рубили ветки на топливо, раскидывали палатки — одним словом, делали все то, что люди делают на новом месте.

Разведчики отползли от этой опасной поляны и обошли ее далеко справа, но тут снова набрали на немецкий лагерь, полный грузовых автомашин со снарядами.

В лесу на молодой траве валялись пустые сигаретные коробки, консервные банки, грязные обрывки напечатанных готическим шрифтом газет, порожние бутылки — следы чужой, ненавистой жизни. Лес был полон указок, причем чаще всего на них были написаны цифра «5» и буква «W». Повсюду был запах немца, фрица, ганса, германца, фашиста — запах постылый и презираемый. Следовало дожидаться темноты: днем двигаться было невозможно. Кругом — полно немцев, горланящих, спящих, идущих и едущих, полно сосредотачивающихся немецких войск.

Травкин, да и все разведчики понимали, что немцы что-то готовят, укрывая свежие войска во мраке огромных здешних лесов. Они, может быть, впервые поняли всю важность своей задачи и всю меру своей ответственности.

Передремав в небольшом яру остаток дня, разведчики к ночи двинулись дальше.

Вскоре они вышли в красивую озерную местность. Здесь простирались озера, большие и маленькие, про-

хладные, окруженные березовым лесом, оглашаемые кваканьем лягушек.

В ложбине, поросшей густым орешником, невдалеке от озера, Травкин сделал привал. На противоположном берегу стоял большой двухэтажный каменный дом. Из дома доносилась немецкая речь. Правее проходил неширокий проселок, а на горизонте, между телеграфными столбами, — шлях.

Близ этого шляха Травкин установил дежурство. Машины шли здесь почти непрерывным потоком, стоило понаблюдать за ними. Иногда движение на час прекращалось, чтобы затем возобновиться с прежней интенсивностью. Автомашины были полны немцев и каких-то упрятанных под брезент таинственных грузов. Два раза на мощных тягачах проследовали орудия, общей численностью двадцать четыре ствола.

Травкин беспрерывно наблюдал за этим потоком. Остальные разведчики дежурили по очереди: одни спали, другие вместе с Травкиным вели счет проходящей мимо них немецкой силе.

— Товарищ лейтенант, — вдруг вынырнул из мрака Мамочкин, — там на проселке немецкая подвода и всего два немца. А в подводе жратва. Разрешите, мы их без выстрела кончим.

Травкин осторожно пошел за ним и действительно увидел на проселочной дороге медленнодвигающуюся повозку. Два немца курили и лениво переговаривались. В подводе похрюкивала свинья. Да, заманчиво было уложить этих фрицев. Они сами так и лезли в руки. Не без сожаления махнул Травкин рукой:

— Пускай едут.

Мамочкин даже слегка обиделся. Ввиду столь удачно складывавшихся обстоятельств он был настроен очень воинственно и хотел показать разведчикам, а особенно



Аниканову, свою прыть. «И зачем мы ходим да смотрим, когда вокруг так и шныряют «языки»?»

Медленно наступал рассвет, и движение по шляху прекратилось.

— Двигутся только ночью, — заметил Аниканов, — хоронятся от нашей авиации. Готовят что-то, сволочи.

Травкин снова повел своих людей в густой орешник, и разведчики, ежась на утреннем холоде, задремали. Вдруг со стороны дома на озере раздался протяжный не то стон, не то крик.

Сам не зная почему, Травкин вдруг вспомнил о Марченко. Крик раздался снова, потом все утихло.

— Пойду посмотрю, что там такое, — предложил Бражников.

— Не надо, — сказал Травкин: — светает.

Действительно, уже светало. По озеру пошли красноватые блики. Пожевав сухарей с колбасой, которую Мамочкин извлек из своих бездонных карманов, разведчики снова впали в дремоту.

Травкину не спалось. Он пополз ближе к озеру и застыл в кустах почти на самом берегу. Дом на озере просыпался. По двору сновали люди.

Вскоре из ворот вышло трое. Один из них, самый высокий, приложил руку к козырьку фуражки и стал медленно удаляться от дома. Поднявшись на пригорок, он повернулся к оставшимся у калитки, махнул им рукой и быстро пошел по проселочной дороге. В этот момент Травкин заметил ранец на спине немца и белую повязку на его левой руке.

Мысль о том, что этого немца следует захватить, пришла Травкину сразу. Это была даже не мысль, а импульс воли, который появляется у любого разведчика при одном лишь взгляде на всякого немца. А затем Травкин неожиданно понял, какая связь между забинто-

ванной рукой этого немца и ночными воплями, испугавшими разведчиков. Дом на озере служил немцам госпиталем. Длинный немец, шагающий по проселку, выписан из госпиталя и направляется в свою часть. Этого немца искать никто не будет.

Аниканов и Мамочкин не спали. Подойдя к ним и указывая рукой на мелькавшую среди редких деревьев долговязую фигуру, Травкин сказал:

— Этого фрица нужно взять.

Оба были удивлены. Лейтенант, обычно такой осторожный, приказывает взять немца среди бела дня! Тогда Травкин, показывая на дом, пояснил:

— Там госпиталь.

Они заметили мелькнувшую на солнце белую повязку на руке немца и тогда всё поняли.

Разбудили спящих разведчиков и пошли в лес наперерез немцу. Он шагал, насвистывая песенку и, видимо, наслаждаясь весенним утром. Все оказалось чрезвычайно просто. Маленький Голубь, берущий «языка» впервые, был даже разочарован. Он сам не успел и пальцем коснуться фрица: того скрутили, заткнули ему рот пилоткой и потащили, прежде чем страшно взволнованный Голубь успел опомниться.

В поросшей орешником ложбине немец лежал острым, как будто чуть вытянутым носом кверху. Вынули пилотку из его рта. Немец застонал. Травкин спросил, твердо, по-русски, выговаривая слова:

— *Zu welchem Truppenteil gehören Sie?*<sup>1</sup>

— *131 Infanterie-Division, Pionier-Compagnie*<sup>2</sup>, — ответил немец.

Это была известная разведчикам пехотная дивизия, стоящая на переднем крае.

<sup>1</sup> В какой воинской части вы состоите?

<sup>2</sup> Сто тридцать первая пехотная дивизия, саперная рота.

Травкин присмотрелся к пленнику. То был молодой человек лет двадцати пяти, белесый, с водянистыми голубоватыми глазами, типичными для немецких лиц.

Пристально глядя в эти водянистые глаза, Травкин задал следующий вопрос:

— Haben Sie hier SS-leute gesehen? <sup>1</sup>

— О, ja, — ответил немец, как будто даже обрадованный своей осведомленностью и уже смелей глядя на окружающих его русских, — eine ganze Menge, überall... <sup>2</sup>

— Was sind das für Truppenteile? <sup>3</sup> — спросил Травкин.

— Die Panzerdivision «Wiking». Eine sehr berühmte, starke Division. Auserwählte Himmlers Truppenteile <sup>4</sup>.

— А... — произнес Травкин.

Разведчики поняли, что лейтенанту удалось узнать что-то весьма важное. Хотя состава дивизии «Викинг» и цели ее сосредоточения немец не знал, Травкин оценил все значение добытых им данных. Он почти с симпатией смотрел теперь на этого долговязого немца и просматривал его бумаги. А немец, глядя на молодого человека, русского, с чуть печальными глазами, вдруг почувствовал надежду. Неужели этот славный юноша прикажет его убить!

Травкин оторвал глаза от солдатской книжки немца и вспомнил, что немца надо кончать. Пленный, как бы поняв его мысль, вдруг задрожал и сказал, вкладывая в свои слова большую силу:

— Herr Kommunist, Kamrad, ich bin Arbeiter. Schauen Sie meine Hände an. Glauben Sie mir, ich

---

<sup>1</sup> Эсэсовцев вы тут видели?

<sup>2</sup> О да, их здесь очень много повсюду.

<sup>3</sup> А что это за части?

<sup>4</sup> Это эсэсовская танковая дивизия «Викинг». Знаменитая, сильная дивизия. Отборные части Гимmlера.



schwöre: bin kein Nazi. Bin selbst Arbeiter und Arbeiter-sohn<sup>1</sup>.

Аниканов примерно понял сказанное немцем. Он знал слово «арбайтер».

— Вот он показывает свои мозолистые руки и говорит: я, дескать, рабочий, — задумчиво сказал Аниканов. — Значит, знает, что у нас уважают рабочего человека, знает, с кем воюет, и воюет же все-таки...

Травкин с младенческих лет был воспитан в любви и уважении к рабочим людям, но этого наборщика из Лейпцига надо было убить.

Немец почувствовал и эту жалость и эту непреклонность в глазах Травкина. То был неглупый немец: будучи наборщиком, он прочитал немало умных книг и понимал, что за люди стоят перед ним. И он зарыдал, увидев смерть в образе этого юного красавца лешего с большими жалостливыми и непреклонными глазами.

### *Глава девятая*

Что творилось у них в душе? Вряд ли они сами могли бы ответить на этот вопрос. Все постороннее, все прошлое исчезло из памяти, а если и появлялось в ней временами, то в виде бесформенных обрывков. Они жили з а д а ч е й и думали только о ней.

Впереди двигался Аниканов с Голубем, метрах в сорока позади — Травкин и Семенов с радиостанцией, слева, почти по обочине проходящей параллельно движению разведчиков шоссейной дороги, — Мамочкин и Быков, а справа, охраняя группу со стороны леса, — Бражников. Это был равнобедренный треугольник, в котором Травкин

---

<sup>1</sup> Господин коммунист, товарищ, я — рабочий. Посмотрите на мои руки. Поверьте мне, я не национал социалист. Я рабочий и сын рабочего.

являлся центром основания, а Аниканов — вершиной. Иногда, почувяв присутствие немцев, треугольник смыкался и двигался медленней, люди останавливались и прислушивались к ночным шорохам. Аниканов издавал птичий крик, и все они замирали.

По шоссе слева проходили машины и гусеничные тягачи. Слышались немецкие песни, немецкая ругань, слова немецкой команды. Иногда проходила пехота, и разговоры солдат слышны были так близко, что казалось — стоит протянуть руку, и ты поймаешь немца, уткнешься в немецкое лицо, обожжешься об огонек немецкой сигареты.

Травкин твердо решил больше «языков» не брать. Он чувствовал, что забрался в самый центр расположения вражеских частей. Одно неосторожное движение, полузадушенный вскрик — и нагрянет вся эта эсэсовская орава. Он знал, что здесь сосредотачивается танковая дивизия «Викинг». Однако он не знал ее состава и намерений. Состав можно приблизительно установить, если вести учет частям, танкам и артиллерии, но намерения командования могут быть известны только хорошо осведомленному немцу. Такого немца необходимо будет достать после разведки железнодорожной станции.

Однако этот осторожный план Травкина был неожиданно нарушен. Травкин вдруг услышал слева шум, затем из темноты появился Мамочкин и вполголоса сообщил:

— Тут немец один лежит возле дороги. Пьяный, как сапожник...

При одном взгляде на «пьяного» немца Травкин понял, в чем дело. Немец неосторожно углубился в чашу, был оглушен, сбит с ног и обезоружен Мамочкиным.

Мамочкин сконфуженно оправдывался:

— Он так и пер на меня. Что мне было делать?

Долго рассуждать не приходилось. Они схватили пленного на руки и нырнули в лес. Уже слышны были странные для русского уха крики немцев, зовущих пропавшего товарища:

— У-ух!.. У-ух!..

— Виллибальд! Виллибальд!

— Герр Беннеке!..

Пленного уложили на траву возле озерца. Мамочкин побрызгал на него водой и даже не пожалел влить ему в рот немножко самогону из фляги. Мамочкин сиял и суетился вокруг «своего» немца, расхваливая его на все лады:

— Ну, это настоящий эсэсовец, этот все знает... Глядите, товарищ лейтенант, — офицер, ей-богу офицер!

Юра Голубь, с любопытством оглядывая немца, досадливо морщил маленький нос и сокрушенно вздыхал:

— Все берут «языка», а мне все не попадается!

— Ничего, Голубок, — тревожно прислушиваясь к замирающим вдали крикам, говорил Аниканов. — Этого добра здесь много. Успеешь.

На Травкина с ужасом смотрели глаза эсэсовского гауптшарфюрера<sup>1</sup>. Дрожа и заикаясь, эсэсовец сказал, что он служит в девятом мотополку «Вестланд» пятой танковой дивизии СС «Викинг», то-есть сообщил то, что было написано в солдатской книжке, вынутой из его кармана Мамочкиным. Он рассказал далее, что полк «Вестланд» состоит из трех батальонов, по четыре роты в каждом, в «ротах тяжелого оружия» имеются шести- и десятиствольные минометы. Танков в полку нет, а есть ли в других полках, он не знает. Дивизия прибыла из Югославии. Штаб стоит в деревне недалеко отсюда, но название деревни он не помнит, потому что не в состоянии запоминать

---

<sup>1</sup> Обер-фельдфебель войск СС.

русские и польские названия. Он помнит только «Москва» и «Варшау», заявил он со странным вызовом.

Получив удар по лицу от своего «покровителя» Мамочкина, он сразу же потерял за минуту до этого обретенное хладнокровие и по-звериному завыл. Вообще он боялся Мамочкина пуще смерти: как только тот наклонялся к нему, немец начинал мелко дрожать и умоляюще глядел на Травкина. Когда гауптшарфюрера сбросили в озеро, Травкин связался с Землей. Слышимость на этот раз была прекрасная, и Травкин передал все установленное им.

По голосам с Земли Травкин понял, что там его сообщение принято как нечто неожиданное и очень важное. В заключение с ним заговорил женский голос, и Травкин узнал Катю. Она пожелала ему успеха и скорого возвращения.

— Мы горячо обнимаем вас, — закончила она дрожащим от волнения и гордости за его успех голосом и, как будто сказав нечто имеющее прямое отношение к служебным делам, спросила: — Поняли вы меня? Как вы меня поняли?

— Я понял вас, — ответил он.

К рассвету разведчики очутились возле полустанка, в семи километрах от нужной им станции. Полустанок этот — одноэтажная кирпичная будка, окрашенная в желтый цвет — был обнесен двойным валом из толстых сосновых бревен. Такое же укрепление с двух сторон ограждало и деревянный железнодорожный мостик невдалеке от полустанка. Это немцы охраняли свои коммуникации от набегов партизан.

На дороге к полустанку стояла длинная шеренга автомашин, хвостом достигающая леса, из которого в этот ранний час выползли разведчики. В глубокой тишине слышались звонки телефонного аппарата в помещении



станции и грубый немецкий голос. Приятно было после двухдневных скитаний по лесам увидеть уходящий в туманную даль рельсовый путь, семафор, черное колено железнодорожной стрелки.

Аниканов, остановив разведчиков условным птичьим криком, подполз к заднему грузовику и заглянул в шоферскую кабину. Она была пуста. Пустыми оказались и второй и третий грузовики. Они почти доверху были завалены порожними мешками из-под муки.

Вернувшись к своим, Аниканов сообщил об этом Травкину.

— Грузиться пришли, — сказал Аниканов, — ждут поезда.

Решил дожждаться поезда и Травкин, но поезд все не показывался. Через некоторое время из станционной будки высыпали заспанные шоферы и стали расходиться по машинам, лениво галдя.

Из обрывков разговоров, хорошо слышных в тишине утра, Травкин уловил, что машины будут грузиться не здесь, а на станции и сейчас тронутся в путь. Подумав мгновение, он решил послать на станцию только двух разведчиков, остальные же будут дожидаться здесь. Немцев на станции полным-полно, и незачем рисковать всеми людьми.

Он выделил для этой цели Аниканова и Быкова, а после многократных просьб Юры Голубя назначил его третьим.

— На попутных поедем, что ли? — спросил Аниканов деловито.

Они с Быковым и Голубем поползли к задней машине и быстро влезли в нее. Заботливо укрыв Быкова и Голубя мешками, Аниканов и сам зарылся в мешки, оставив отверстие для глаз и взяв автомат наизготовку. Вскоре к грузовику неторопливо подошел немец-шофер. Он сел в

машину и, дождавшись, пока тронутся передние, включил зажигание и нажал на стартер. Мотор затарахтел.

Колонна двигалась по лесной дороге. Машины подсакивали на выбоинах. Так они ехали минут пятнадцать. Вдруг шофер затормозил.

Аниканов услышал немецкий говор и увидел фигуры двух уцепившихся за борта, а затем прыгнувших в кузов немцев. На счастье разведчиков, немцы, видимо, были не склонны пачкать черные эсэсовские мундиры в мучной пыли и так и остались сидеть на заднем борту, держась подальше от мешков. Все же это было неприятное соседство. Машину подкидывало, и под мешками то и дело обозначались очертания человеческих тел. Аниканов уже начал беспокоиться: непрошенные попутчики, возможно, собрались ехать до самой станции, а это грозило серьезными осложнениями.

Но вот раздался страшный шум, грузовик остановился, вокруг него поднялась суета, и немцы, сидевшие на борту, быстро спрыгнули на землю.

Тотчас же Аниканов услышал ровное гудение моторов. Он тоже инстинктивно пригнул голову, но вдруг, улыбнувшись, понял: это же наши!

И он весело, как будто советская бомба не в силах причинить вред своим, сказал выглянувшему из-под мешков товарищам:

— Ребята, наши летят!

Самолетов было шесть. Они делали низкие круги над лесом, угрожающе рокоча.

Аниканов осмотрелся. Немцы все попрятались в лесной чаще. Явственно доносились тревожные гудки паровозов: станция была близко.

— За мной! — скомандовал Аниканов, и они спрыгнули.

Юркнув между машинами, разведчики очутились в

кювете и, вынырнув оттуда, быстрым шагом стали углубляться в лес. Но в то мгновение, что они находились в кювете, их заметил лежавший там немец. Испугавшись, он замер, но затем поднял голову и отчаянным голосом закричал:

— Fallschirmjäger! <sup>1</sup>

Поднялась беспорядочная стрельба. Разведчики отвели несколькими автоматными очередями.

Перескочив широкую прогалину, Аниканов увидел посеревшее лицо Голубя. Голубок падал на землю, сморщив маленький нос.

— Того немца можно было схватить... — сказал он, лежа на широкой спине Аниканова.

Это были первые после ранения и последние в его короткой жизни слова. Разрывная пуля попала ему в грудь ниже сердца. Бедное сердце еще билось, но все слабей и слабей. Позже он очнулся еще раз и увидел над собой сосредоточенное лицо лейтенанта и большие глаза Мамочкина, из которых лились не переставая слезы...

В лесу начиналась гроза. Дубы, покрытые молодой листвой, гудели под порывами ветра, и тысячи ручьев забегали под ногами, подобные стайкам мышей.

Неподвижно сидя перед умирающим Голубем, Травкин ждал возвращения Аниканова, вторично ушедшего — на этот раз с Мамочкиным — к станции. Нет. Травкин после этого печального случая не хотел делить группу на две части, но Голубя, еще живого, нельзя было здесь оставить одного, а дело надо делать.

Он попытался связаться с Землей, но безуспешно. Может быть, мешали электрические разряды. Эфир истошно кричал в трубку, время от времени сухо потрескивая. Под ногами струились ручейки, на плечи падали тяже-

---

<sup>1</sup> Парашютисты!

лые капли. Ливень смыл с окостеневшего лица мальчика следы пыли и тревог, и оно светилось в темноте.

Аниканов и Мамочкин подползли совсем близко к станционным постройкам. При свете часто вспыхивающих молний они увидели два груженных состава. На платформах одного из них чернели мощные громады танков.

Паровозы пыхтели, испуская клубы пара и осыпая искрами рельсовый путь. Возле пакгаузов, огороженных колючей проволокой, сновали люди, разговаривая на осточертевшем немецком языке. Потом раздались крики часовых, отгонявших от полотна железной дороги группы крестьянок с мешками за спиной. Доносились возгласы и причитания этих крестьянок:

— Ось бисовы души! Никуды не пускають...

Аниканов был недоволен собой. И зачем он полез в этот проклятый грузовик? Может быть, не лезь он туда, Голубь был бы жив. Он, сибиряк, привычный к тайге, чего он полез в ту машину?..

Немцы разгружают танки. Видно, готовят большое наступление. А где — неизвестно. Если бы захватить еще одного, можно было бы узнать задачу эсэсовской дивизии.

«Ну, вот они, немцы, ходят, — думал Аниканов. — А кто из них знает задачу своей дивизии? Возьмешь какого-нибудь замухрышку и опять ничего не выведаешь толком».

Внимание Аниканова привлекли два тощих немца в широких черных блестящих плащах. При свете молний он видел их то вместе, то по отдельности, — они громко, отрывистыми голосами распоряжались здесь. Эти офицеры, видимо, сошли с той легкой машины, что остановилась возле задней стены ближайшего пакгауза.

Ежась под потоками дождя, Аниканов подумал про

Голубя: жив ли он еще? Лежит, бедняга, под дождем. Хорошо бы раздобыть для него вот такой плащ, как на этих фрицах.

— Возьмем офицера? — спросил Аниканов Мамочкина.

Тот сказал:

— А лейтенант? Он не говорил, чтобы «языка» брать. Аниканов внимательно поглядел в лицо товарища.

— Мы это мигом обтяпаем, — ласково сказал он, — а потом домой сразу.

Мамочкин вздрогнул. Они были вдвоем против сотен деловито снующих немцев. И среди этих сотен захватить — вдвоем — офицера?.. Его затрясло. А Аниканов все так же внимательно смотрел на него, повторяя:

— Да мы это мигом...

Мамочкин отчаянно махнул рукой и вдруг, набрав в легкие воздуха, приподнялся. В восторге от себя самого, подняв лицо под хлещущие струи дождя, он начал твердить скороговоркой, как в лихорадке:

— Давай, Ваня... Давай! Ладно, Ваня. Сделаем. Неужели не сделаем?

Они поползли к машине, пролезли под проволокой и затаились. Дождь беспрерывно лил по полированному кузову машины.

— Один из этих фрицев генерал, по-моему, — взвизывая себя, шептал Мамочкин.

— Ясно, генерал, — успокаивающе бормотал Аниканов.

Прошло не меньше часа, прежде чем послышались шаги и один из офицеров сказал:

— Wir fahren sofort<sup>1</sup>.

Он упал, получив от Аниканова удар ножом в грудь. А второй, оглушенный и прижатый лицом к бурно взды-

---

<sup>1</sup> Едем сейчас же.

мающейся груди Мамочкина, потерял сознание. Немцы вокруг все так же сновали от пакгаузов к составам и обратно и ежились под потоками дождя.

### *Глава десятая*

Пятая танковая дивизия СС «Викинг» была одной из отборнейших дивизий эсэсовского отборного войска.

Под командованием группенфюрера (генерал-лейтенанта войск СС) Герберта Гилле дивизия, в составе 9-го мотополка «Вестланд», 10-го мотополка «Германия», 5-го танкового полка, 5-го дивизиона самоходной артиллерии и 5-го полевого артиллерийского полка, во всем блеске своей первокласснейшей техники, тайно сосредоточилась в этих огромных лесах, с тем чтобы неожиданным ударом деблокировать окруженный русскими город Ковель, расчленив русских на изолированные группы и, уничтожая их, отбросить на рубеж двух знаменитых рек — Стоход и Стырь.

Получив сильное пополнение в людях и шестьдесят танков нового типа «тигр», о котором господин рейхсминистр Шпеер отозвался, как о «короле танков», дивизия насчитывала пятнадцать тысяч человек. Полками командовали неоднократно отмеченный фюрером штандартенфюрер Мюлленкамп, бывший личный адъютант Гитлера штандартенфюрер Гаргайс и другие гиммлеровские волки, высоко стоящие на лестнице национал-социалистской и военной иерархии, — удачливые и безжалостные интриганы.

Вслед за дивизией «Викинг» готовилась к прибытию из Франции на этот участок фронта отборная, хотя и не столь блестящая 342-я гренадерская дивизия под командованием генерал-лейтенанта Никкеля. Ей предстояло развить успех эсэсовцев.

Вся эта операция проводилась в глубокой тайне.

— Русские слишком близко прорвались к генерал-губернаторству, — сказал группенфюреру Гилле его покровитель фон-дем-Бах, командир корпуса СС, приняв его в своем особняке на острове Пфауен-Инзель, близ Берлина. — Последствия, партайгеноссе Гилле, вам понятны. Это будет означать активизацию всех антигерманских сил в Европе и, пожалуй, может заставить действовать англичан и американцев... Фюрер придает вашей операции первостепенное значение. Главная квартира заинтересована в глубокой тайне данной перегруппировки. Соблюдайте все меры предосторожности.

Теперь, сосредоточив свою дивизию в сумрачных лесах западной города Ковель, Гилле ожидал дальнейших распоряжений, полный уверенности в успехе порученной ему операции.

Конечно, он знал, что его дивизия совсем уже не та, какой она была в 1940 или даже в 1943 году. Пришлось отказаться от принципа расовой чистоты. Как это ни прискорбно, но в дивизии служили и голландцы, и венгры, и даже поляки и хорваты. Правда, эти иностранцы были проверенными сторонниками нового порядка, но все же людьми чужой крови, равнодушными к интересам империи.

Кроме того, пришлось отказаться от принципа строгого физического отбора. Солдаты дивизии, воины Черного корпуса, были уже не те чуть не двухметровые великаны, которые отбирались по всей Германии. Теперь попадались такие замухрышки, что смотреть тошно.

Группенфюрер с ужасом заметил во время осмотра мотополка «Германия» нескольких одноглазых, хромых и даже одного горбуна. А маленьких, щуплых солдат — больше половины полка. Да, это уже не те разъяренные кровью и легкой наживой гитлеровские ландскнехты, ко-

торые прошли с огнем и мечом Голландию, Францию и дорвались до Кавказского хребта.

Герберт Гилле с удовольствием вспоминал те времена, кажущиеся теперь уже такими далекими. Больше всего понравился ему Кавказ — эта прекрасная южная местность была куда красивее и величественнее Швейцарии. Господин группенфюрер одно время даже мечтал о спокойном месте губернатора или штатгальтера этих плодородных горных областей и нащупывал почву для такого выгодного назначения через своих покровителей в личном штабе фюрера. К сожалению, в силу известных всему миру обстоятельств мечты эти пришлось оставить.

Странно, но беспокойство завладело им в этот весенний день с самого утра. Прежде всего появилась авиация противника. Нет, она не бомбила, но она вела разведку. Русские самолеты просматривали леса, много раз летали вдоль железной дороги, подолгу кружась над главной станцией выгрузки. Правда, войска были хорошо замаскированы, но беспокойство вызывал сам факт усиленной разведки русскими этих мест.

Беспокойство стало еще более ощутимым, когда сделалось известным, что ночью в районе озер был похищен с дороги во время марша гауптшарфюрер Беннеке, уроженец Мекленбурга, ветеран и один из храбрейших воинов мотополка «Вестланд». После долгих поисков труп его обнаружили в маленьком озере, в восьми километрах от местопребывания штаба дивизии. Господин гауптшарфюрер был заколот ножом в сердце, а голова его повреждена тяжелым предметом.

Не приходится удивляться, что последовавший за этой находкой налет советских бомбардировщиков на деревню, где разместился штаб, был поставлен группенфюрером в связь с убийством Беннеке. Он срочно перевел



свой штаб в лес и велел окружить его тремя рядами колючей проволоки.

К вечеру, в то время, когда штабс-арцт Линдемани докладывал группенфюреру результаты вскрытия трупа гауптшарфюрера, из мотополка «Вестланд» доложили, что недалеко от имевшего место прискорбного случая с гауптшарфюрером Виллибальдом-Эрнстом Беннеке солдаты, прочесывавшие лес, нашли в густом орешнике, под кучей веток, тело, оказавшееся трупом ефрейтора из 131-й пехотной дивизии, Карла Гилле (однофамильца командира дивизии «Викинг», что неприятно поразило господина группенфюрера).

Несколько позднее позвонил по телефону лично командир мотополка «Германия» штандартенфюрер Мюлленкамп, доложивший, что в имевшей место перестрелке его солдат с неизвестными таинственными, одетыми в зеленое людьми ранено два рядовых — Гесснер и Мейсснер, причем первый, видимо, смертельно. В качестве курьеза штандартенфюрер сообщил, что солдаты в один голос говорят о том, что незнакомцы были обсыпаны... снегом.

Группенфюрер приказал тщательно расследовать эти случаи и решительно заняться поисками неизвестных, для чего выделить из каждого батальона роту, а также пустить в ход весь разведывательный отряд дивизии. Среди солдат, как узнал с неудовольствием группенфюрер, поползли панические слухи о неких «зеленых призраках» (grüne Gespenster) или «зеленых дьяволах» (grüne Teufel), появившихся в здешних местах.

Группенфюрер Гилле не верил в призраков. Он втолковал вызванному им начальнику разведки и контрразведки капитану Вернеру, что на войне призраков не бывает, а бывают враги, и предложил Вернеру лично возглавить операции по поимке «призраков».

Ночью на самой станции, где сгружался в то время

танковый полк, часа через два после посещения станции самим группенфюрером был убит штурмбанфюрер<sup>1</sup> Дилле (эта созвучность с его собственной фамилией снова покорила господина Гилле) и похищен оберштурмфюрер<sup>2</sup> Артур Вендель, один из руководителей квартирмейстерского отдела дивизии. Бедный господин Дилле убит ударом ножа, причем удар нанесен с такой огромной силой, что пропорол тело штурмбанфюрера насквозь. Это случилось почти на виду у большого количества находившихся на станции офицеров и солдат.

Группенфюрер приказал посадить начальника караула и часовых на пятнадцать суток в карцер, а капитана Вернера вызвал к себе и отчитал за недостаточное рвение по розыску злоумышленников.

Крушение поезда с боеприпасами, происшедшее скорее всего из-за ветхости железнодорожного полотна, отравление трех солдат полка «Германия» недоброкачественной пищей, исчезновение двух солдат того же полка, дезертировавших из армии, — все эти случаи молва тоже отнесла за счет деятельности «зеленых призраков», и трудно уже было отличить правду от вымысла, досужую выдумку — от реальных фактов.

Встревоженный возможными последствиями, группенфюрер приказал информировать штаб корпуса и командующего центральной группой армий генерал-фельдмаршала Буша в том смысле, что русские заслали в тыл германских войск соединение («Einheit») разведчиков-диверсантов, которым из-за халатного несения службы 131-й пехотной дивизии удалось проникнуть в центр расположения дивизии «Викинг» и, вполне вероятно, выведать кое-что о целях и задачах перегруппировки.

Подумав, господин группенфюрер написал также ча-

---

<sup>1</sup> Майор войск СС.

<sup>2</sup> Обер-лейтенант войск СС.

стное письмо обергруппенфюреру фон-дем-Баху в Берлин, дабы позабавить своего покровителя и одновременно обеспечить себе поддержку на случай провала операции. В берлинском резерве околачивалось немало генералов, которые охотно заняли бы место господина Гилле.

В конце следующего дня, когда группенфюрер лег отдыхать после обеда, его разбудил сильный телефонный звонок.

Капитан Вернер сообщал о только что разыгравшемся бое взвода солдат с «зелеными призраками». Взвод этот под командой унтерштурмфюрера<sup>1</sup> Альтенберга, прочесывая, согласно приказу командира дивизии, окружающую местность, набрел на одинокий сарай на опушке леса. Несколько человек вошли в сарай, но там никого не оказалось. Однако благодаря бдительности унтерштурмфюрера «зеленые призраки» были обнаружены на чердаке сарая. Да, они находились там. К сожалению, им удалось убежать, забросав взвод Альтенберга ручными гранатами и уничтожив самого унтерштурмфюрера и семерых солдат. Но, во-первых, все находящиеся в том районе части подняты по тревоге, и началась настоящая травля «зеленых призраков», которая, надо надеяться, окончится их поимкой или уничтожением; во-вторых, один из этих бандитов попал в руки солдат. Нет, не живой, а убитый, к сожалению.

Гилле, подумав, приказал подать машину и в сопровождении конвоирующего танка отправился к месту происшествия.

На опушке леса, возле догорающего сарая, группенфюрера встретили капитан Вернер и эсэсовцы из разведывательного отряда.

Не ответив на приветствия, Гилле молча подошел к убитому врагу. Это был молодой русский, не старше

<sup>1</sup> Лейтенант войск СС.

двадцати трех лет, с прямыми льняными волосами и большими, широко открытыми мертвыми глазами, спокойно глядящими на господина группенфюрера. Под зеленой одеждой («боевая летняя форма советских разведчиков», определил группенфюрер) была надета выцветшая красноармейская гимнастерка с погонами советского младшего сержанта.

Неподалеку, положенные рядом, как в строю, со сложенными крест-накрест руками, лежали восемь эсэсовцев. Поморщившись, господин группенфюрер подумал, что пятеро из этих восьми — низкорослые, щуплые... И это солдаты Черного корпуса СС!..

Травкин не знал, что он причинил столько хлопот такому множеству высокопоставленных лиц германской армии. Правда, шагая треугольником в обратный путь, разведчики иногда видели шныряющие группы эсэсовцев и слышали их переключку, но не относили это на свой счет, предполагая, что эсэсовцы занимаются тактическими ученьями.

К вечеру четвертого дня пребывания в немецком тылу разведчики набрали на одинокий сарай. Травкин решил дать людям часок отдохнуть, а кстати связаться по радио с Землей. В виде предосторожности и для лучшего наблюдения за окрестностями они забралась по прогнившей лесенке, едва не обломившейся под тяжестью Аниканова, на чердак сарая.

Приладив рацию и даже успев обменяться с Землей позывными, Травкин услышал восклицание Бражникова, стоявшего на-часах возле выломанного в крыше сарая отверстия. Подойдя к нему, Травкин увидел идущих к сараю развернутым строем человек двадцать эсэсовских солдат.

Травкин разбудил только что заснувших тяжелым

сном людей, но прыгать вниз и бежать в лес, пожалуй, было уж слишком поздно. Эсэсовцы приближались. Четверо вошли в сарай, поковыряли в навозе и вышли, но тут же вернулись, и один из них стал взбираться по гнилой лестнице, негромко ворча и ругаясь.

Травкин, сжимая в каждой руке по пистолету, перевел дыхание. На чердаке было совсем светло от многочисленных отверстий и щелей в крыше. Он посмотрел на своих людей внимательней, чем когда-либо прежде. Они были страшны. Обросшие, худые, с ввалившимися глазами, стояли они, готовые к смертному бою. Гнилая лестница поскрипывала, немец тихо ругался.

Раздался страшный грохот. Это Аниканов швырнул в отверстие крыши противотанковую гранату на стоявших кружком возле сарая эсэсовцев. Одновременно Бражников, раскrojив автоматом показавшуюся в отверстии чердака голову эсэсовца, прыгнул вниз, а вслед за ним прыгнули остальные, вздымая пыль и щебень.

С мимолетным одобрением Травкин подумал о гениальном, с точки зрения разведчика, замысле Аниканова, разметавшего гранатой врагов, стоявших снаружи, и тем открывшего путь к отступлению. С тремя эсэсовцами, находившимися в сарае, справиться было легко: напуганные взрывом, они вообще в темноте не разобрали, в чем дело.

Через минуту разведчики, сопровождаемые пулями и воплями немцев и взрывами запоздалых немецких гранат, бежали по густому ельнику. Травкин вначале не заметил отсутствия Бражникова, как не заметил и того, что Аниканов и Семенов ранены. О Бражникове ему, задыхаясь в быстром беге, сообщил Аниканов. Он видел, как Бражников упал, выбегая из сарая.

Погоня не затихала. Казалось, гонятся со всех сторон. Выстрелы и крики громким эхом отдавались по всему ле-

су. Затем раздался лай собак. Затем рычание мотоциклов где-то справа. Аниканов, раненный в спину, задыхался. Семенов начинал хромать все сильнее и сильнее.

Лес, промытый ливнями, сладко благоухал. Напоенные влагой листья и травы наконец сбросили с себя отдающую зимой апрельскую прохладу. Так наступала настоящая весна. Мягкий ветер, как бы тоже очищенный прошедшими ливнями, колыхал всю эту по-весеннему шуршащую массу зелени.

Шум погони приутих. Раненым сделали наскоро перевязки. Мамочкин вынул из-за пазухи свою последнюю флягу и поболтал ею во все стороны. Самогону оставалась самая малость. Он отдал флягу Аниканову.

Тут же выяснилось, что радиостанция, висевшая на спине у Быкова, расплющена десятком пуль. Она спасла Быкову жизнь, но для работы уже не годилась. Быков добил свою спасительницу прикладом автомата и обломки раскидал по кустам.

Они медленно шли, шатаясь, как пьяные.

Шедший позади с Травкиным Мамочкин внезапно сказал:

— Прошу у вас прощения, товарищ лейтенант.

Покаянно бия себя в грудь, а может быть, и плача — в темноте не разобрать, — он хрипло, вполголоса заговорил:

— Из-за меня, все из-за меня... Недаром рыбаки у нас приметам верят. Почти всегда бывает правильно. Я тех двух лошадей не довел в деревню, а внаем сдал, за продукты...

Травкин молчал.

— Простите, товарищ лейтенант. Если приду здоровым...

— Придешь здоровым, пойдешь в штрафную роту, — сказал Травкин.

— И пойду! С удовольствием пойду! И я знал, что вы так скажете! Знал, что все равно вы так скажете! — восторженно вскричал Мамочкин. И он сжал руку Травкина в почти истерическом припадке непонятной благодарности и самозабвенной любви.

Звуки погони раздалась совсем рядом. Они притаились.

С грохотом пронеслись мимо два броневика. Потом стало тихо, и люди пошли дальше. Впереди темнела массивная фигура Аниканова. Раздвигая могучими плечами ветки деревьев, он медленно шел вперед, огромным усилием воли отгоняя от себя туман полузабытья, одолевавший его.

И, может быть, только он, во всеоружии своего жизненного опыта, догадывался, что наступившая тишина обманчива. Правда, он не знал, что весь разведывательный отряд эсэсовской дивизии «Викинг», передовые роты подходящей ускоренным маршем 342-й гренадерской дивизии и тыловые части 131-й пехотной дивизии подняты на ноги в погоне за ними; он не знал, что телефоны неустанно звонят, что рации непрерывно разговаривают жестким шифрованным языком, но он чувствовал, что вокруг них все уже и уже стягивается петля огромной облавы.

Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести удар исподтишка по советским войскам, отборная дивизия с грозным именем «Викинг» обречена на гибель. И машины, и танки, и бронетранспортеры, и тот эсэсовец с грозно поблескивающим пенсне, и те немцы на подводе с живой свиньей, и все эти немцы вообще, жрущие, горлающие, загадившие окружающие леса, все эти Гилле, Мюлленкампы, Гаргайсы, все эти карьеристы и каратели, вешатели и убийцы идут

по лесным дорогам прямо к своей гибели, и смерть опускает уже на все эти пятнадцать тысяч голов свою карающую руку.

### *Глава одиннадцатая*

Рация, работающая со Звездой, стояла в уединенном блиндаже. Младший лейтенант Мещерский проводил здесь круглые сутки. Он почти не спал, изредка склоняя голову в тяжелой полудремоте, но и тогда ему мерещилось характерное хлюпанье эфира в ушах, и он вдруг просыпался, моргая длинными ресницами, и ошалело спрашивал дежурного радиста:

— Говорит, кажется?

Радистов работало трое. Но Катя, кончив свою смену, не уходила. Она сидела рядом с Мещерским на узких нарах, склонив светлую голову на смуглые руки, и ждала. Иногда она вдруг начинала сварливо спорить с дежурным, что тот якобы потерял волну Звезды, выхватывала из его рук трубку, и под низким потолком блиндажа раздавался ее тихий, умоляющий голос:

— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда...

По соседству с волной Звезды кто-то безумолку бубнил по-немецки, а чуть подалее говорила, пела и играла на скрипке Москва — вечно бодрствующая, могучая и неуязвимая.

По несколько раз в день в блиндаж заходил командир дивизии. От овина к блиндажу и обратно сновали разведчики. Ежедневно приходил, иногда в сопровождении старшины Меджидова, лейтенант Бугорков. Он простаивал часок у стены, молчаливо наблюдал работу дежурного радиста и снова уходил.

Часто, отобрав трубку у дежурного, сидел в блиндаже майор Лихачев. Иногда на несколько минут заходил и



капитан Барашкин. Он становился возле маленького оконца, барабанил пальцами по стеклу и напевал что-то из своей знаменитой тетрадки. Как-то наведались пришедшие с переднего края неразлучные капитаны Муштков и Гуревич.

Спокойный, незаметный, чуть рябой, с выпуклым лбом над внимательными глазами, в блиндаж вошел следователь прокуратуры капитан Еськин. Он спросил Мещерского:

— Вы командир разведчиков?

— Временно замещаю его.

Следователь сказал, что он должен допросить нескольких лиц по делу о незаконно взятых у крестьян лошадях. Он кратко изложил суть дела и спросил, понимает ли Мещерский все значение этого проступка, роняющего авторитет Красной Армии в глазах местного населения.

— Так вот, — продолжал следователь, не дожидаясь ответа Мещерского, — мне нужно допросить разведчиков, присутствовавших при совершении этих незаконных действий, в особенности лейтенанта Травкина и сержанта Мамочкина.

— Их сейчас здесь нет, — уже нетерпеливо возразил Мещерский.

— Никого из них?

— Никого.

Следователь с минуту подумал.

— А я должен с ними поговорить, — сказал он. — Скоро ли они вернутся?

— Не знаю, — ответил Мещерский медленно.

Катя, внезапно встав с места, сказала:

— А вы, товарищ капитан, лучше сходите туда, где они находятся, и допросите их.

— А где они находятся? — спросил следователь.

— В тылу у немцев.

Следователь внимательно посмотрел на Катю спокойными, лишенными юмора глазами.

Она со злой, торжествующей улыбкой выдержала этот взгляд.

Мешерский тоже улыбнулся, но вдруг подумал, что прикажи этому человеку начальство идти к немцам в тыл для допроса — и он пойдет.

На третьи сутки Звезда заговорила — вторично после того, как Травкин перешел фронт. Не прибегая к шифру, Травкин настойчиво повторял:

— Здесь сосредотачивается пятая танковая дивизия СС «Викинг». Пленный девятого мотополка «Вестланд» показал, что здесь сосредотачивается пятая танковая дивизия СС «Викинг».

Затем он сообщил состав полка «Вестланд», местопребывание штаба дивизии и подчеркнул, что части разгружаются и движутся только по ночам. И снова повторял, повторял бесчисленное количество раз:

— Здесь сосредотачивается, тайно сосредотачивается пятая танковая дивизия СС «Викинг»...

Сообщение Травкина наделало шуму в дивизии. А когда полковник Сербиченко лично позвонил командарму и полковнику Семеркину об этих данных, заволновались и в штабе армии.

Подполковник Галиев позабыл, что такое сон, отвечая на телефонные звонки из корпуса, армии и соседних дивизий. Он сразу же перестал зябнуть и куда-то закинул свою бурку, стал криклив, требователен, весел. «Галиев почуял немца», говорили про него.

На тысячи карт между тем синим карандашом наносился район сосредоточения дивизии «Викинг». Из штаба армии данные эти внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда — в ставку Верховного Главнокомандования, в Москву.

Если в дивизии и корпусе данные Травкина были восприняты как событие особой важности, то для штаба армии они имели уже хотя и важное, но вовсе не решающее значение. Командарм приказал прибывающее пополнение дать именно тем дивизиям, которые могут оказаться под ударом эсэсовцев. Он также перебросил свой резерв на угрожаемый участок.

Штаб фронта взял эти сведения на заметку как показательное явление, доказывающее лишней раз интерес немцев к Ковельскому узлу. И штаб фронта предложил авиации разведывать и бомбить указанные районы и придал Н-ской армии несколько танковых и артиллерийских частей.

Верховное Главнокомандование, для которого мошкой были и дивизия «Викинг» и в конечном счете весь этот большой лесистый район, сразу поняло, что за этим кроется нечто более серьезное: немцы попытаются контрударом отвлечь прорыв наших войск на Польшу. Было отдано распоряжение усилить левый фланг фронта и перебросить именно туда танковую армию, конный корпус и несколько армдивизий резерва Главного Командования. Так ширились круги вокруг Травкина, расходясь волнами по земле — до самого Берлина и до самой Москвы.

Ближайшим следствием этих событий для дивизии было: прибытие танкового полка, полка гвардейских минометов и большого пополнения людьми и техникой. Получили пополнение и разведчики.

Мещерский начал проводить усиленные занятия и полдня пропадал на переднем крае, ведя наблюдение за противником. Бугорков со своими саперами минировал местность перед передним краем. Майор Лихачев целыми днями суетился, получая новые рации, телефонные аппараты и провод. Полковник Сербиченко уехал на свой

наблюдательный пункт и оттуда руководил действиями частей. Он как-то помолодел и посуровел, как всегда перед большими боями. Серьезно и подолгу изучал он только что прибывшие новые карты, обнимающие почти всю Польшу, вплоть до Вислы. В этих далеких краях он побывал однажды в 1920 году в составе Первой Конной армии Буденного.

В уединенном блиндаже оставалась только Катя.

Что означал ответ Травкина на ее заключительные слова по радио? Сказал ли он «я вас понял» вообще, как принято подтверждать по радио услышанное, или он вкладывал в свои слова определенный тайный смысл? Эта мысль больше всех других волновала ее. Ей казалось, что, окруженный смертельными опасностями, он стал мягче и доступнее простым человеческим чувствам и что его последние слова по радио — результат этой перемены. Она улыбалась своим мыслям. Выпросив у военфельдшера Улыбышевой зеркальце, она смотрелась в него, стараясь придать своему лицу выражение торжественной серьезности, как подобает (это слово она даже произносила вслух) невесте героя. А потом, отбросив прочь зеркальце, принималась снова твердить в ревуший эфир нежно, весело или печально, смотря по настроению:

— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда...

Через два дня после разговора Звезда вдруг снова отозвалась:

— Земля. Земля. Я — Звезда. Слышишь ли ты меня?  
Я — Звезда.

— Звезда, Звезда! — громко закричала Катя. — Я — Земля. Я слушаю тебя, слушаю, слушаю тебя!

Она протянула руку и настезь отворила дверь блиндажа, чтобы кого-нибудь позвать, поделиться своей радостью. Но кругом никого не было. Она схватила ка-

рандаш и приготовилась записывать. Однако Звезда на полуслове замолчала и уже больше не говорила. Всю ночь Катя не смыкала глаз, но Звезда молчала.

Молчала Звезда и назавтра и на послезавтра. Изредка в блиндаж заходили то Мещерский, то Бугорков, то майор Лихачев, то капитан Яркевич — новый начальник разведки, заменивший снятого Барашкина. Но Звезда молчала.

Катя в полудремоте целый день прижимала к уху трубку рации. Ей мерещились какие-то странные сны, видения: Травкин с очень бледным лицом, в зеленом маскхалате; Мамочкин, двоящийся, с застывшей улыбкой на лице; ее брат Лёня, тоже почему-то в зеленом маскхалате. Она опоминалась, дрожа от ужаса, что могла пропустить мимо ушей вызовы Травкина, и принималась снова говорить в трубку:

— Звезда. Звезда. Звезда...

До нее издали доносились артиллерийские залпы, гул начинающегося сражения. В эти напряженные дни майор Лихачев очень нуждался в радистах, но снять Катю с дежурства у рации не решался. Так она сидела, почти забытая, в уединенном блиндаже.

Как-то поздно вечером в блиндаж зашел Бугорков. Он принес письмо Травкину от матери, полученное только что с почты. Мать писала о том, что она нашла красную общую тетрадь по физике, его любимому предмету. Она сохранит эту тетрадь. Когда он будет поступать в вуз, тетрадь ему очень пригодится. Действительно, это образцовая тетрадь. Собственно говоря, ее можно было бы издать как учебник — с такой точностью и чувством меры записано все по разделам электричества и теплоты. У него явная склонность к научной работе, что ей очень приятно. Кстати, помнит ли он о том остроумном водяном двигателе, который он придумал двенадцатилетним мальчи-

ком? Она нашла эти чертежи и много смеялась с тетей Клавой над ними.

Прочитав письмо, Бугорков склонился над рацией, заплакал и сказал:

— Скорей бы войне конец... Нет, не устал. Я не говорю, что я устал. Но просто пора, чтобы людей перестали убивать.

И с ужасом Катя вдруг подумала, что, может быть, бесполезно ее сидение здесь, у аппарата, и ее бесконечные вызовы Звезды. Звезда закатилась и погасла.

Но как она может уйти отсюда? А что, если он заговорит? А что, если он прячется где-нибудь в глубине лесов? И, полная надежды и железного упорства, она ждала. Никто уже не ждал, а она ждала. И никто не смел снять рацию с приема, пока не началось наступление.

### *З а к л ю ч е н и е*

Летом 1944 года войска, сметая сопротивление слабеющей немецкой армии, проходили по польской земле.

Генерал-майор Сербиченко догнал на своей машине группу разведчиков. В зеленых маскхалатах, друг за дружкой, шли они по обочине дороги, ловкие, настороженные, готовые в любую минуту исчезнуть, раствориться в безмолвии полей и лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек.

В идущем впереди разведчике генерал узнал лейтенанта Мещерского. Остановив машину и просветлев, как всегда при виде разведчиков, генерал спросил:

— Ну что, орлы? Варшава на горизонте. А видали — до Берлина пятьсот километров осталось! Чепуха. Скоро там будем.

Он внимательно разглядывал разведчиков, потом, охваченный каким-то печальным воспоминанием, хотел еще что-то сказать, но осекся и махнул рукой:

— Ну, счастливо, разведчики!

Машина тронулась, а разведчики, постояв немного, снова двинулись в путь.





Ю. К А П У С Т О  
Н А Т А Ш А

*В полевом госпитале*

Наташа решила не ждать повестки военкомата. Ночью она собрала свой вещевой мешок, повязалась большим шерстяным платком и, не дождавшись рассвета, сбежала по лестнице. Было еще темно. Она шла по опавшим листьям вдоль пустых московских бульваров, мимо баррикад, мимо противотанковых ежей, на запад, на юго-запад, в холодную ширь Калужского шоссе. Ни воинского

---

Печатается с сокращением.



удостоверения, ни командировочной у нее не было. Часовым она показывала комсомольский билет. До Красной Пахры ей верили. Между Пахрой и Архангельским (очевидно, фронт был где-то совсем недалеко) ее арестовали и отвели в штаб части. Из штаба Наташу направили не на самый передний край, а только в полевой госпиталь.

Начмед госпиталя встретил ее сухо:

— Образование?

— Трехмесячные курсы РОКК.

— Гм... маловато. Мало для медсестры. А кроме?

— Три курса литфака.

— Это еще туда-сюда. Пожалуй, даже достаточно...

для писаря сортировочного отделения.

— Для писаря?

— Да, возможно, что справитесь.

Писарем?! Неужели для этого она шла сюда? Да она что угодно готова делать — мыть полы, горшки выносить, — только не писарем! Бумажная работа! И все это, недолго думая, она выложила начмеду.

Он слушал молча и вдруг закричал:

— Кру-гом! Марш из палатки!

Еще никогда никто так не кричал на нее. Наташа выбежала из палатки начмеда. Он вернул ее:

— Поворотов не знаете? Кру-гом!

И Наташа сделалась писарем.

Писать. Без конца писать. Называется — человек воюет! Что же делать, раз это нужно. Писать по-русски и по-латыни. Выводить буквы старательно и аккуратно. Ну и фронтовик!

— Но ведь вы добровольно стали солдатом, — говорил начмед. — Да или нет? Чего ж возмущаться?

Через неделю начмед мимоходом похвалил ее почерк. Показалось, что это издевка. Почерк! Тоже воинское мастерство! Она смолчала.

— Теперь вы умеете поворачиваться и знаете, в чем горькая соль солдатского ремесла, — сказал начмед. — Ни в чем не расканиваетесь?

— Нет.

— Скоро будете принимать присягу.

И еще через три недели:

— Теперь я могу допустить вас непосредственно к раненым. Сдайте бумаги сержанту...



В палатке было холодно и дымно. Около печки лежала груда сырых дров. Наташа пыталась разжечь эти дрова и бумагой, и без бумаги, и керосином и солидолом, выпрошенным у шоферов, — печка не разгоралась.

Она откинула снизу брезент, который закрывал вход в палатку, и выглянула наружу.

Промозглый ветер пробежал под койки.

Из трубы над соседней палаткой валил густой дым и задорно вылетали озорные, веселые искры.

В этой палатке работала дружинница Ийка.

Наташа захлопнула брезент и снова — наверно, в седьмой уж раз! — принялась за растопку

Ийка была самым счастливым человеком в госпитале. Ийка не «проводила бесед», не «занималась с больными» и не «поднимала их дух», как требовал строгий начмед. Все переделав, Ийка садилась посреди палатки на ящик и требовала, чтобы раненые занимались ею.

— Ну, как вы себе думаете, ребята, будет у меня когда-нибудь свое хозяйство или не будет? — спрашивала она. — Вот давайте загадаем. Сколько у нас тут на палатку здоровых рук? Так, чтоб ни разу не раненных? Если чёт — значит, будет; если нечет — не будет. Петрышкин — одна... Борюшкин — две... Спицын... Не ври, Спицын, весь ты кругом простреленный.

То ли Ийка «подтасовывала», то ли раненые «жюльничали», но как ни менялся состав раненых в ее палатке, число здоровых рук выходило всегда неизменным «четом».

Ийка пересаживалась с ящика на ближнюю койку и начинала мечтать:

— Ну вот, и уборщицей в санатории я уже больше не буду! Надоело. Выйду замуж вот за такого, как Спицын. Только уж не сердись, Спицын: чтоб руки были нестреляные, мне ведь хозяин нужен.

Наташа приходила в отчаяние от Ийкиной бестактности.

— Будет у меня много ребят, — продолжала Ийка, — и своя корова, вот как у нас была соседская Бурка, а может быть, даже две. Как думаете, разрешит мне наш председатель? А больше всего, по правде сказать, я цыплят люблю.

— Так ты на птицеферму иди, — добродушно советовал Спицын, который (зря так волновалась Наташа) совсем не обижался на Ийку.

— Пошла бы, если б меня бригадиром выбрали, — признавалась Ийка. — Люблю сама распоряжаться.

Спицын посмеивался, и Ийка, сообразив, что наговорила лишнего, тоже начинала громко смеяться.

— Сколько раз я вас просил, дружинница Куренкова, — у входа стоял строгий начмед, — не устраивать шума в палатках.

Ийка поспешно соскакивала с койки (ведь и на койке сидеть не разрешается).

А бывало в свободные минуты Ийка приходила в палатку не смеяться, а, наоборот, жаловаться на свою судьбу.

Когда немцы подходили к Наро-Фоминску, мать ее перебралась в соседнюю деревню к своей золовке (той

самой, которая в святцах выискала для Ийки ее необыкновенное имя), да так и пропала.

Ийка шумно всхлипывала, а как только за палаткой слышались шаги начмеда, кто-нибудь из раненых торопливо совал ей в руки полотенце или край простыни:

— Утрись! Опять тебе нагорит.

Но не Ийкиной дружбе с бойцами завидовала Наташа. Если Ийка заполняла своей болтовней всю палатку, то Наташа умела слушать, и раненые выкладывали ей все, что у них наболело от минуты прощания с домом до этого самого дня.

Наташу волновало другое: непонятная, таинственная власть, которую Ийка имела над железными печками. Конечно, дело не только в печках! Все, что Ийка делала по хозяйству своей палатки, получалось у ней легко и без героических усилий. Сколько бы отдала Наташа за эту легкость!

Совсем не так думала она когда-то о войне. В детстве Наташа зачитывалась «Красными дьяволятами», собиралась с мальчишками-одноклассниками бежать в Китай — делать китайскую революцию, бредила чапаевской Анкой. В студенческие годы между лекциями о Средневековье и диаматом всегда находился свободный часок для районного полигона и стрелкового клуба.

Оказалось, требуются всего-навсего медицинские сестры.

Но в конце концов, легко или трудно, плохо или хорошо, и у нее выходило все, что делала Ийка. Все, если бы не эти проклятые печки! Нет, опять прогорела и опала пеплом газета, а дрова, составленные плотным ровным четырехугольником, попрежнему лежали не тронутые огнем. Не дрова, а какой-то несгораемый шкаф!

Наташа решительно поднялась, вышла из палатки и направилась к Ийке. Подходя, она услышала слажен-

ный мужской хор, и где-то поверху песни шел не очень верный, но звонкий Ийкин голосок.

В палатке было светло и жарко. Посреди стоял большой стол, покрытый белой скатертью. («И где это она столько марли раздобыла!» подумала Наташа.) Ийка сидела на столе и управляла хором.

Весело потрескивала круглая печурка. У входа был демонстративно вывешен деревянный термометр.

Наташа поискала глазами конец синего столбика.

— Двадцать, — услужливо подсказала Ийка.

Хор замолк.

Рядом с печкой Наташа увидела огромную кучу хвороста. Сухие ветки торчали из-под всех коек.

— Иечка, — сказала Наташа, — ну скажи мне наконец, где ты добываешь хворост?

Ийка гостеприимно указала Наташе место рядом с собой.

— Садись песни с нами петь.

— Иечка, — снова сказала Наташа, — ну не все ли равно — мои раненые или твои. Ну что за секреты?

Ийка хитровато прищурилась:

— Не секреты, а военная тайна.

Раненые посмотрели на огорченную Наташу с гордостью за свою Ийку. Но, выйдя из палатки, Наташа услышала у себя за спиной голос Спицына:

— Не вредничай, Ийка, скажи ей. Всем ведь хватит.

— А вдруг нехватит? — оправдывалась Ийка — Мне не жаль, да ведь эта Наташка такая — всем туда дорогу покажет...

Через несколько минут Ийка вошла в Наташину палатку.

— Прохладненько у вас чего-то, — сказала она, обращаясь к раненым, и, повернувшись к Наташе, доба-

вила: — Ну, ничего, печка холодная — сердце горячее. А пока прощевайте. Греться ко мне заходите!

— Рады бы в рай, сестра, да грехи не пускают, — сказал раненый, который лежал поближе к печке, и показал Ийке на забинтованную ногу, подвешенную для вытяжения к спинке кровати.

Ийка смутилась, неловко раскланялась и ушла.



Шестого декабря уже первый прибывший с переднего края раненый возбужденно сказал:

— Наши пошли! — Он торопливо махнул здоровой рукой: — Скорее, доктор! Спешу. Что? Эвакуация? Нет, это не по погоде... У меня батальон.

Трое суток непрерывно к госпиталю подходили санитарные машины. Трое суток Наташа не выходила из сортировочной. К концу четвертого дня ее вызвали в гангренозное отделение.

Наступление продолжалось. Наро-Фоминск, Боровск...

На краю Московской области, в селе под Вереей, томилась Зоя, ждала прихода наших полков или своего последнего часа...

Госпиталь получил приказ о передислокации. Нужно было двигаться за наступающими войсками.

Через день госпиталь работал в сорока километрах от прежнего места.

...Заполночь. Раненые уснули. Перемыв посуду после ужина, Ийка уселась поближе к печке (излюбленное место всех сестер во время ночного дежурства). Вот уже второй день мели бураны, а в Ийкиной палатке температура попрежнему не падала ниже двадцати. Се-

годня на политминутке комиссар похвалил Ийку. Он сказал, что сестра Куренкова держится с больными правильного — как это он сказал-то? — тона, кажется... ну да, правильного тона, что она умеет отвлекать раненых от тяжелых мыслей.

Ийка с удовольствием повторяла про себя слова комиссара. Правда, в глубине души она считала их не совсем справедливыми, но от этого они не становились менее приятны. Есть, конечно, за ней кое-какие грехи, к счастью неизвестные комиссару, но этого ведь никто, кроме нее, не знает, а она-то уж будет теперь стараться.

Ийка взглянула на ртутный столбик, подкинула плечо, придвинулась ближе к печке и задремала.

— Иди-ка сюда, — сказал кто-то за палаткой, и Ийке показалось, что она слышит мычание.

— Вот еще, примерещилось, — сказала себе Ийка. Она помотала головой, и глаза снова слиплись.

Мычание повторилось.

Ийка вскочила и выбежала из палатки. Перед палаткой, по колено в сугробе, вся облепленная снегом, стояла Наташа. Рядом с Наташей (Ийка не поверила себе) топталась крупная холмогорская корова, совершенно такая же, как соседская Бурка, с таким же белым пятном на боку. (Ийка знала, что когда началась война, сосед своими руками зарезал Бурку.) Корова натягивала веревку и яростно отбрасывала снег задними ногами.

— Ийка, помоги мне, — сказала Наташа. — Я в деревню ходила хворост искать. Пустая деревня. Подхожу к бане, и вдруг из предбанника выскакивает корова. И веревка за ней мотается. Я сразу вспомнила про тебя — и петлю под ноги.

— Ох, если б мне так посчастливилось! — сказала Ийка.

— Да не все ли равно, кто привел. С ней еще всем нам повозиться придется...

— Ох, Наташа, какая же ты везучая! Ведь как раз сегодня я сама собиралась в деревню за хворостом...

— Ну, не глупи, Ийка! Чего мы время теряем? Беги, буди комиссара, и начнем для нее палатку раскидывать. Смотри, сколько я дров принесла!

— Не буду я ничего делать, — сказала Ийка, — не буду. Твоя корова, так и командуй ею.

С трудом сдерживая слезы, она вошла в палатку и с наслаждением услышала у себя за спиной:

— Ийка, так я ж без тебя не смогу...

Утром Наташа принесла в Ийкину палатку две банки молока.

— Хвалиться пришла? — спросила Ийка.

Не ответив, Наташа стала разливать молоко по кружкам.

Ийка удивленно посмотрела на нее и, сделав вид, что ничего не замечает, начала умыть раненых.



Машина пришла в госпиталь прямо с переднего края, минуя полковую санчасть и санбат, разрушенные прямым попаданием. Носилки были подвешены в три ряда. С верхних носилок улыбалась девушка с отличительными знаками связи в петлицах. Наташа подошла к ней.

В зеленоватых глазах девушки стояли слезы.

— Что с вами? — спросила Наташа.

— Ногу ломит, — ответила девушка и снова заулыбалась одним ртом, всхлипнула и достала платок.

Это была не улыбка, а характерная судорожная гримаса, с которой начинается столбняк.

Девушку вынесли из машины.



Раненый, лежавший на носилках второго ряда, схватил Наташу за руку и сказал:

— Спасибо, сестричка, спасибо! Спасибо, что детишек ко мне привела.

Он нежно погладил рукою воздух.

«Общее заражение крови», было написано на его медицинской карточке. Его тоже вынесли. Остальные молчали.

Наташа решила, что это бойцы латышской дивизии, которая воевала на этом участке.

— Lab diem, — сказала она по-латышски. — Добрый день.

Никто не ответил.

На нижних носилках лежал мужчина с запрокинутой головой.

Она подошла ближе. Пульса не было ни у него, ни у его соседей. Ей казалось, что вся машина заполнена мертвыми.

Она бросилась к двери. Дверь не поддавалась. Очевидно, санитар, выносивший раненого, запер ее с наружной стороны. Наташа закрыла глаза и прижалась к стенке.

— А я? — спросил чей-то слабый голос.

Наташа вздрогнула.

— А я?

Раздвигая носилки, Наташа пробралась в угол машины.

Между двумя трупами — сверху и снизу — лежал на носилках молодой лейтенант с перевязанной головой. Из-под повязки выбивались волосы. Черты лица были мягкие, не совсем определившиеся. Темные брови сдвинулись, должно быть от боли, и лицо сразу стало взрослей.

Наташа вынула его документы и прочла: «Владимир Митяй. Проникающее ранение в височную долю».



Госпиталь переезжал с места на место.

Вот и Петришево, где замучили Таню

— Наверно, она ждала нас, — говорила Наташа Ийке. — Помнишь, во всех довоенных кинокартинах о войне в последнем кадре в село врываются свои

На месте деревень из пепелищ вставляли трубы Девушки в неуклюжих ватных брюках грелись у теплых кирпичей сожженных хат, быстро раскидывали палатки, расставляли койки, пытались здесь, в грохоте канонады, среди снегов и пожарищ, создать что-то похожее на уют.

Немало хлопот доставляла и корова, приведенная Наташей. Приходилось для нее ставить палатку, добывать корм, на грузовике перевозить ее с места на место.

За коровой по очереди ухаживали все, кроме Ийки.

Как-то вечером, когда дежурной по хлеву была Наташа, Ийка подошла к палатке и остановилась у входа.

— Наташа, — сказала она робко, — руки мои по дельной работе стосковались. Дай хоть разочек мне подонть.

— Я могу тебе на целые сутки дежурство свое уступить, — обрадовалась Наташа. — Входи.

Ийка вошла. Наташа подметала палатку.

— Ишь ты, и тепло и сухо, — поразилась Ийка. — И корму запасы. А я так думала, — сказала она откровенно, — что вам без меня тут не обойтись.

— Нам, и правда, без тебя трудно, — сказала Наташа.

— То и видно, конечно, что умелой руки тут нет, — заметила ободренная Ийка. — Неплохо, конечно, а все же не так, как положено. Стоило лучше бы переставить. И сена маловато.

Она подошла ближе и внимательно осмотрела корову.

— Не так вы ее доите. Видишь? Молоко остается. Эх ты, Бурка несчастная!.. — Она участливо похлопала корову по спине.

— Хочешь, мы тебя здесь ответственной сделаем? — спросила Наташа.

Ийка взяла в руки щетку.

— А кожа какая... Разве так положено?

Утром она сказала Наташе:

— Я думала — не допустишь ты меня до Бурки. Скажешь: вот, на готовенькое пришла. Хочешь, я тебя за это научу печки топить?

— Да я уж сама умею.

Ийка даже огорчилась:

— Откуда же?

— Подглядела, как ты топишь.

— Ишь ты какая! Ну, тогда я про белье один секрет знаю. Меня вчера комиссар опять хвалил. Получается и скоро и бело. Только чтоб никому больше не говорить.



Ночь. В палатке прикручена лампа. Только слышен бессвязный, взволнованный бред. Всю ночь напролет Наташинных раненых душат, режут и жгут. И люди с оторванными руками снова просятся в бой, чтобы дать исход своей непомерной боли.

Наташа проводит ладонью по влажному лбу. Раненый успокаивается или молча скрипит зубами. «Сибиряк», догадывается Наташа. Или слышится мягкий, ласковый украинский говор:

— Ой, сестренка, а головка болыть, болыть, и в ухо стреляе. Та деж мий штык, сестричко?

Раненый приподымается и в изнеможении падает на подушку.

— Да ты, нияк, моя Ксана? А я думав, шо це сестра Пидыйды, голубко моя. Ишь яка рука-то добра. У кого ще така, як у Оксаны.

— Страшно, — тихо говорит майор на соседней койке. — Умирать человеку — всегда одному.

— Не уходи, сестренка! — просит ее лейтенант Митяй. — Когда ты сидишь рядом, кажется мне, что мы с тобой улетаем далёко-далёко, а каменная голова остается внизу, на подушке.

Невидящие блестящие глаза лейтенанта Митяя широко раскрыты.

Каждый звук, каждое движение, даже луч света, стук упавшего карандаша пронзительной болью отдаются в висках.

— Потерпи, Митяй, — шепчет Наташа. — Знаешь, выздоровление — тоже подвиг.

Палата «черепников» похожа на ясли, где собраны дети разных возрастов. Сознание приходит не сразу, и не все мозговые центры включаются одновременно. Один еще не говорит, но уже все понимает, другой говорит, но не помнит своего имени, третий хочет что-то написать сестре и без конца рисует кружочки и стрелки. Хочется как можно скорее вернуть каждому дар слова и мысли. Но «черепники» поднимаются трудно и медленно. Стоит заторопиться, резко повернуть носилки, хлопнуть брезентом — раненый вскрикивает и хватается за повязку. За каждым шагом своим приходится здесь следить.



Наташа взбивала мыльную пену в узком деревянном корыте. Перед корытом горой лежали бинты, дальше — сваленные одна на другую солдатские гимнастерки и в стороне — простыни. Из палатки комиссара выскочила

Ийка. Она подбежала к Наташе и ревниво поглядела на простыни. В руках Ийка держала небольшую бумажку.

— Ой, какие белые! — сказала Ийка. — Теперь не меня комиссар будет хвалить.

— Так это ведь ты меня научила.

— Что ж, что я. А хвалить будут тебя.

— Ну, хочешь, я разучусь?

Ийка расхохоталась.

— Нет уж! — Она стала осматривать гимнастерки. — Здорово! Просто здорово! Даже лучше, чем у меня. — От гимнастерок она вернулась к простыням. — Нет, Наташка, правда, как-то обидно чуточку, а все-таки мне на тебя своих секретов не жалко, честное слово. — Она посмотрела бинты на свет. — Потому что ты простая и не вредная. Не то что я.

— Ну какая же ты, Ийка, вредная?

— Ох, ты еще не знаешь! — вздохнула Ийка. — Позавчера я на тебя ужас как зла была.

— За что же?

— Ты ж мой секрет всем девчатам выдала. Знаю я, какое белье теперь у всех по палаткам.

Наташа смотрела на Ийку виновато.

— Но теперь уж я на тебя не сержусь, — сказала Ийка. — Видела, сегодня утром из санотдела начальники были? Так они говорят, что наш госпиталь по чистоте на первое место выйдет. А уж каждое полотенце разглядывали. И я подумала: молодчина Наташка, во-время успела девчонкам все рассказать.

И вдруг Ийка спохватилась:

— Я ж забыла: комиссар велел тебе передать... — Она протянула Наташе уже помятую бумажку. — А начмед сказал: если ты еще такую грамотку напишешь, быть тебе на «губе».

Наташа пробежала бумажку глазами и с досадой отбросила гимнастерку.

— Что с тобой? — закричала Ийка. — Что ж ты чистую вещь по земле валяешь? Что это за бумага?

Это был рапорт (пятый по счету), адресованный командованию ППГ. В рапорте Наташа просила направить ее на передний край. Поперек бумаги было написано аккуратным комиссаровым почерком: «Вынужден отказать, так как госпиталь остро нуждается в среднем медперсонале. Убедительно прошу с этой просьбой ко мне больше не обращаться». Следовала подпись.

«Убедительно прошу»... Наташа знала, что комиссар мог бы написать «приказываю». И это было бы еще ничего! Но все в госпитале знали, что комиссар разрешал себе прибегать к мягким довоенным выражениям только тогда, когда решение его становилось окончательно твердым и бесповоротным.

— Так ты потихоньку от меня на передний край хотела тикать! — оскорбленно воскликнула Ийка, когда Наташа прочла ей вслух рапорт и резолюцию. — Несознательная ты. Комиссар сказал, что будут меня в комсомол принимать. А как же я без тебя готовиться стану?

От негодования Ийка уже не могла стоять на месте и, заложив руки за спину, ходила взад и вперед перед корытом.

— Я ж без тебя в газетах-то ничевошеньки...

Она остановилась и посмотрела на Наташу с презрением:

— Что ж теперь, из-за твоих штучек беспартийной мне оставаться, что ли?

— Да не волнуйся ты, все равно меня не пускают.

— Ну и хорошо, что не пускают! Умница комиссар. Вот побегу и расцелую его за это.

— Духу у тебя нехватит.

— Еще как хватит! Комиссар наш такой, что... Вот и не похуже он тебя, а работает здесь. И никаких рапортов никому не пишет. А ты воображалка!

— Ийка, но если я правда хочу на передний край...

— А я вот нисколько не хочу! — отрезала Ийка. — Ни за какие коврижки. Пожить я еще хочу, вот что! И чтоб все было так, как мне нагадали.

Ийка опустила руку в корыто, мазнула ладонью по Наташиному лицу, оставляя на щеках и на носу полосы мыльной пены, и убежала.



Стирке не видно конца. В соседнюю палату кто-то вошел. До Наташи доносились отдельные слова:

— Действия на фронтах Европы... Задачи весны сорок второго года...

Продолжая работу, она стала прислушиваться. Кто-то незнакомый рассказывал бойцам о последних событиях.

«А мне вот все некогда», с раздражением подумала Наташа, заливая белье кипятком. С позавчерашнего дня она не читала в своих палатках газет, и занятия с Ийкой велись тоже урывками, торопливо.

Гость вышел из палатки.

— Здравствуйте, — сказал он дружелюбно. — Будем знакомы. Корреспондент армейской газеты Гольдин. О вас я уже слышал. Наташа Крайнова, да?

Это был высокий худощавый юноша с лейтенантскими кубиками в петлицах. На длинном лице желтовато-землистого цвета выделялись большие черные глаза и добрые выпяченные толстые губы. Лейтенант носил большие роговые очки и заметно сутулился. Обмундирование сидело на нем неловко. Несмотря на форму и портупею, он больше походил на студента, чем на





командира. Весь он показался Наташе каким-то нелепым, неуместным в боевой обстановке.

— Видите ли, в чем дело, товарищ Крайнова: нашей редакции нужен еще один литсотрудник. Ваш комиссар только что сказал мне, что вам не нравится работа в госпитале, и он не протестует против перевода.

— Как это не нравится? — возмутилась Наташа. — И почему комиссар не протестует?

И хотя час тому назад ее огорчила резолюция на рапорте, сейчас было обидно, что комиссар так легко ее отпускает. Что же значило это бесповоротное «убедительно прошу»?

«Это потому, что я просила о переднем крае, а здесь — редакция», подумала она.

— Наоборот, мне очень нравится работа в госпитале, — сказала Наташа. — И дело совсем не в том. И если я завидую кому-нибудь, то не вам, — добавила она резко.

— А кому? — нисколько не обидевшись, с интересом спросил Гольдин.

— Им, — она кивнула в сторону палатки. — Людям переднего края. Ведь я ни разу еще не была в настоящем бою. И вот только эта работа меня и успокаивает.

Наташа с силой выкрутила огромную гимнастерку, быстро слила в ведро мыльную воду и, не простившись с Гольдиным, гремя ведрами, побежала к реке.

Она вернулась, неся ведра с чистой водой. Гольдин стоял на том же месте и внимательно рассматривал груды выстиранного белья.

Наташа громко и не слишком вежливо рассмеялась.

— Изучаете? — спросила она, снова принимаясь за стирку.

— Да, вы хорошо работаете, — простодушно ответил Гольдин, не обращая внимания на иронию, которую нельзя было не заметить.

Это обезоружило ее.

— Знаете, товариш лейтенант, — сказала она уже дружески, — война и сейчас, как и в первый день, кажется мне огромным субботником, где каждый должен браться за работу потяжелее, не думая о своих склонностях. Верно ведь?

— Нет, неверно, — неожиданно твердо ответил мягкосердечный Гольдин. — Совсем неверно, — повторил он.

Получив отпор, Наташа снесла почувствовала желание спорить.

— Я думаю, на войне нужно быть или солдатом, чтобы бить врага, или сестрой, чтобы помогать солдату. Все остальное — второстепенное.

— А вам никогда не хочется написать о солдате? — спросил Гольдин, пристально поглядев на нее.

— Хочется, — против желания призналась Наташа. — Но еще больше хочется делать то, о чем стоит писать.

— Одно не так далеко от другого, — сказал Гольдин.

Наташа долго смотрела вслед его удалявшейся сутулой фигуре.

Откуда бралась такая спокойная, твердая уверенность в себе у этого, как ей казалось, неуместного здесь человека?



По ночам, в редкие минуты, когда кошмары оставляли раненых и в палатке устанавливалась хрупкая тишина, Наташа садилась на пол у железной печурки и писала несколько строк Сергею. Письма скапливались в ее походном мешке. Куда отправлять их, она не знала. С тех пор как Сергей получил направление в десантную часть, только одна открытка пришла от него — открытка с дороги.

«Где ты сейчас? Пишу тебе каждый день, без на-

правления, без адреса, просто потому, что не могу не говорить с тобой...»

Она отложила листок и вынула из комсомольского билета его фотографию. В углу закрипела койка. Наташа оглянулась. В палатке снова стало совсем тихо.

На койке у окна проснулся Митяй. Он полежал минуту с закрытыми глазами и медленно поднял веки. Привычная темнота, в которой он жил уже тридцать пять дней, неожиданно расступилась. Из недр темноты на Митяя надвинулось светлое пятно... Митяй почувствовал резь в глазах. Пятно раскололось. Митяй зажмурился, выждал и снова открыл глаза. Трепещущий круг света стоял перед ним. К центру свет сгущался, искрился и наконец загорался огнем. Края таяли в полутьме палатки. Световые блики, приобретая четкие контуры, стали превращаться в предметы. Огонь казался пламенем, рвущимся из открытой дверцы железной печурки. Над огнем склонялась русая голова. Митяй вгляделся. Девушка держала в руках кусок картона и задумчиво улыбалась.

Кому? Митяю хотелось, чтобы это ему она улыбалась.

Кто-то вскрикнул во сне. Девушка быстро встала. Вдоль спины упали тяжелые косы. Освещенная пламенем печки среди полутьмы палатки, она показалась Митяю продолжением сна. Девушка бесшумно вышла из светлого круга. Теперь Митяй не видел ее.

Кто-то подошел к койке, подвинул подушку, поправил бинты.

— Наташа! — узнал Митяй руки дежурной сестры.

— Спи, Митяй, — тихо сказала сестра.

Девушка снова вошла в светлый круг и заняла свое место у печурки. Отблеск пламени ударил в открытый лоб. Значит, то, что он видел, вовсе не было сном, —

неожиданно понял Митяй. Это живая девушка, Наташа Крайнова, дежурная медсестра. Значит, он видит? Митяй не поверил себе. Он резко мотнул головой. Пламя метнулось из печки. Сквозь закусенную губу вырвался стон. Девушка исчезла из поля зрения Митяя. Знакомые руки повернули его голову. Боль утихла. Девушка снова улыбалась над пламенем печки. Кусок картона выскользнул из ее рук.

«Чья-то фотография», подумал Митяй.

Жизнь начиналась заново. Но он не кричал, не двигался. Он боялся пошелохнуться и разрушить вновь обретенный мир. Он хотел, чтоб сестра еще раз прикоснулась к нему. Но теперь он стеснялся ее позвать.

Наташа спрятала фотографию и окинула взглядом палатку. Ее глаза остановились на Митяе. Он смотрел не мимо, как обычно, а прямо в упор. Наташа бросилась к его койке:

— Да ведь ты видишь!

Митяй сжал ее руки.

Она раскрыла маленькое окошечко, вырезанное в брезенте палатки над изголовьем Митяя.

— Видишь?

Она подставила ему свое плечо. Митяй оперся на него и привстал.

Яркооранжевый тонкий месяц уже зачерпнул горизонт. Через палатку дугой перекинулся Млечный путь. Дрожали и наливались силой яркие звезды. У Наташи было такое чувство, словно она дарит Митяю это звездное небо.

Она отыскала созвездие Большой Медведицы:

— Видишь? Большой ковш. Первая звезда рукоятки — это, Митяй, тебе от меня в подарок. Где бы ты ни был, посмотришь на эту звезду — вспомнишь меня.



Госпиталь располагался в школе.

Стоял ясный весенний день. В классах-палатах было спокойно. Только теплый апрельский ветерок пробегал по марлевым шторам. У раскрытого окна класса-посудной стояла Ийка. В ее руках ловко скользили блестящие тарелки и мелькало свежее полотняное полотенце. Работая, Ийка пела, и ее неправильный голосок, как всегда, добирался до самых дальних палат. В палатах подпевали. На подоконнике лежала надкусанная горбушка черного хлеба.

Временами Ийка завистливо поглядывала на хлеб, не прекращая работы, уговаривала себя:

— Вот уж управлюсь, тогда поем в свое удовольствие.

Ийка составила тарелки горкой. Вытирая последнюю, она отошла полюбоваться ими, и ее голосок, сразу перескочив через целую октаву, поднялся до самой верхней возможной для нее нотки. В это время потолок у окна с грохотом повалился вниз и в наполненной солнцем посудной внезапно погас свет.

Ийка упала навзничь.

Надвое раскололась мокрая тарелка. Недоеденная горбушка попрежнему лежала на подоконнике.

В окна соседнего класса ворвался грохот. Со столиков посыпался хирургический инструментарий. На пол упали осколки. Хирург пошатнулся.

— «Фокке-вульф»! — крикнул кто-то из санитаров.

Хирург прислонился к стене. Люди метнулись к выходу. Раненый лежал на операционном столе неподвижно. С раскрытой полости живота соскользнула хирургическая салфетка.

Наташа подняла голову и вопросительно посмотрела на хирурга

Осколок с визгом пролетел между ножками стола.

— Будем продолжать, — с трудом произнес хирург.

Наташа подбежала к двери и загородила собой выход. Она хотела что-то крикнуть, но у нее захватило дыхание, и она сказала совсем тихо:

— Доктор говорит: будем продолжать. — Она испугалась, что ее никто не услышит, но кончила уже совсем шопотом: — Никто не уйдет, пока мы не кончим работу.

В этом грохоте, может быть, только шопот и можно было услышать.

В комнату вывалилась оконная рама. Хирург попросил, чтобы его подвели к столу и посадили на табурет.

— Два кохера и один пеан, — сказал он операционной сестре.

Рядом с госпиталем рвались мины. В палату принесли новых раненых.

Операция продолжалась. Наташа помогала операционной сестре. Передний край, к которому она так стремилась, проходил теперь здесь, через операционную, раскинутую в этом классе.

Когда операция подходила к концу, ее толкнуло, ногу чем-то обожгло, горячая волна подкатилась под горло. Во рту стояла теплая кровь. Столик с наркозом закружился вдоль стенок класса и опрокинулся. Ее подняли и положили на стол.

— Хлорэтил! — приказал хирург.

Наташе надели маску.

— Считайте!

Что-то холодящее прошло по щеке. Она не то провалилась, не то улетела куда-то — стола под спиной не было.

— Четыре... пять... семь... пять... восемь...

Сквозь сон Наташа услышала гул, и кто-то рядом сказал.

— Опять «фокке-вульф»! Над самой крышей залет. Больше она ничего не слышала...

К вечеру Наташа проснулась.

Залитая по грудь гипсом, она лежала молча и чуть заметно улыбалась.

— Больно? — спросил сосед.

Она не расслышала.

— Верно, очень больно?

— Да нет, ничего.

Она посмотрела в окно и почему-то вспомнила: «Чувствовать себя сильным и способным к борьбе — это и есть счастье». Где-то она читала это — кажется, у Сергея. Ну да, это было написано поперек обложки на его общей синей тетради, а дальше, кажется, шли задачки по химии.

То ли небо склонилось ближе к окну, то ли Наташу кто-то приподнял к небу, только луна и звезды в тот вечер были и крупнее и ярче. Стоит лишь протянуть руку — и дотронешься до Млечного пути. Ей казалось, что она может все. Она чувствовала себя очень счастливой.



О гибели подруги Наташа не знала. Ей сказали, что Ийку срочно вызвали в санотдел армии и оттуда отправили на курсы учиться. Наташа скучала по Ийке, ждала от нее писем и присматривалась к соседям по палате.

Рядом с Наташей лежали два командира. Оба были из одной дивизии, оба ранены в череп. Они ни разу не видели один другого, хотя их носилки стояли вплотную.

Майор воевал третью войну. Младший лейтенант недавно кончил училище.

— Это — сынок мой, — любил говорить майор. — Теперь никуда его от себя не отпущу. А скажи, сестричка, ты ведь видишь, — спросил майор у Наташи: — похож младший лейтенант на меня или нет?

Оба соседа были одинаково слепы, одинаково терпеливы. Одинаковая повязка — «шапка Гиппократата» — белела у обоих на голове. А главное — у обоих была одна судьба.

Прямые вороного цвета волосы с упорной проседью падали на лоб майора. Лицо изможденное, землистое, с резко обозначенными углами скул. У младшего лейтенанта — круглое веснучатое лицо. Сквозь бинты пробились огненные вихры.

— Да, товарищ майор, младший лейтенант удивительно походит на вас, — убежденно сказала Наташа и сама поверила в это. — Просто вылитый сын. А у вас есть сын? — спросила она.

— Был у меня сын, — глухо сказал майор.

И Наташа подумала: вот ведь смешной девчонкой была она прежде, все ей хотелось сделать что-то особенное, чем-то отличиться, чтобы ни в коем случае не походить на подруг. А теперь, наоборот, люди стараются отличиться, чтобы походить на других и не отставать от соседей.

...Ногу жгло. Огонь из ноги разбежался по всему телу, охватывая койку, палату и дом.

— Откуда ты, парень, родом? — крикнул майор через всю палату раненому, которого только что внесли и положили у входа.

— Из Хабаровска, — отвечал новичок.

— А я с Урала. Да мы ж совсем земляки! — обрадовался майор.



Наташа уже много раз слышала подобные разговоры, но только сейчас она поняла, почему все вновь прибывающие раненые ищут прежде всего своих земляков, потом ровесников, потом тезок, пытаясь в каждом «своем» найти что-то родственное, почему пожилые бойцы называют молодых сестер дочками, а молодые бойцы пожилых сестер величают матушками.

Она попросила у майора листок бумаги и стала писать матери.

### *На батарее*

После ранения Наташа долго лежала в тыловом стационаре.

Летом 1942 года немцы подходили к Харькову, к Воронежу, к Сталинграду. В такие дни постельный покой и бездействие были особенно невыносимы.

В сентябре Наташа вернулась в распоряжение штаба армии.

У начсанарма она получила направление в дивизию для использования в санбате. У начсандива она выпросила направление в полк «для использования в санчасти».

— Очень прошу вас, направьте меня в боевые порядки, — обратилась Наташа к начальнику санслужбы полка.

— Обязательно в боевые порядки? — переспросил начальник, просмотрев ее документы.

К роше, где был расположен блиндаж санчасти, подъехал невысокий, но ладный и крепкий, сильно загорелый капитан с двумя орденами и медалью «За отвагу».

Это был Никитин, начальник штаба полка.

Капитан приветливо поздоровался с Наташей, выслу-

шал ее и, подведя к обрыву оврага, вынул из кобуры наган.

— Умеете пользоваться? Приходилось?.. А ну, покажите... Ишь ты... Умеет!.. Так, значит, на передний край захотелось?

Капитан задумался.

— Что касается линейной батареей, — сказал он после минуты молчания, — прямо говорю: не советую. Оставайтесь в санчасти. Или, хотите, я возьму вас в штабную к себе? На батарее трудно физически и к тому же небезопасно.

Капитан говорил искренне и просто. Незаметно для себя самой Наташа рассказала ему и об институте, и о матери, и даже о Сергее. Узнав, что Наташа знает немецкий, Никитин попросил ее прочесть ему немецкие письма, которые сегодня разведчики доставили в штаб.

Затем он приказал подать второго коня.

Через полчаса они были в штабной батарее.

Наташу поразили чистота и порядок в блиндаже начальника штаба, куда, по его словам, никогда не входила женщина. Стены были оклеены чистыми газетами. Землянку наполнял свежий запах хвои. На столике лежали книги.

Никитин достал из планшетки аккуратно сложенные газетные вырезки.

— Вот, посмотрите, что о моих солдатах пишут. Это дивизионная газета. А это — из фронтовой. А вот и в «Правду» наши ребяташки попали. Маловато, четыре строчки всего, — добавил он с сожалением. — Ладно, когда-нибудь больше будет...

— Товарищ капитан, расскажите, пожалуйста, за что и когда вы получили медаль «За отвагу», — попросила Наташа. Эту медаль она ценила выше многих других наград.

— Да что обо мне! — отмахнулся Никитин. — Вот у меня разведчик есть один, так у него три таких... Сам его представлял. Такой это хлопец!..

И он с увлечением стал рассказывать о своих «хлопцах».

— Боги войны, одним словом. Сами увидите.



В штабном блиндаже пятой батареи было шумно. Наташа спустилась по ступенькам и нерешительно остановилась на пороге блиндажа. В тесной землянке артиллеристы, сидевшие вокруг столика, казались особенно рослыми. Наташа почувствовала себя маленькой и невзрачной. До сих пор она имела дело только с больными и ранеными. Как примут ее эти крепкие, сильные люди? Наташа оглянулась, чувствуя на себе пытливые, пристальные взгляды. В блиндаже замолчали.

— А мы уж тут спорили, к кому вы попадете. Я об заклад бился, что к нам!

Блиндаж тонул в полумраке. Задетый кем-то фонарь покачнулся. Пятно света скользнуло по лицу говорящего.

Это было мягкое, чем-то знакомое Наташе лицо.

Юноша, улыбаясь, шагнул к Наташе, протянул было руку, но тут же опустил, оглянувшись на сидящего у стола капитана:

— Прости, комбат, забыл: тебе знакомиться первому. С нар медленно поднялся широкоплечий великан.

«Старший сержант Крайнова явилась в ваше... — промелькнули в памяти слова, которые она повторяла всю дорогу, — в ваше...» Дальше следовало какое-то уставное слово. Она никак не могла его вспомнить. «В ваше...»

— Ладно уж, тебя первого познакомим, — пробасил

комбат. — Как самого нетерпеливого. И за то, что заклад свой выиграл...

Комбат повернулся к Наташе:

— Это мой заместитель, ваше прямое и непосредственное начальство...

Юноша недовольно дернул комбата за гимнастерку. Комбат посмотрел на него с усмешкой и, сжалившись, добавил:

— Так что прошу жаловать и любить старшего лейтенанта...

Старший лейтенант сделал еще шаг вперед, всматриваясь в Наташу.

— Митяй! Митяйка! — закричала Наташа, перебивая комбата.

— Наташа, неужели ты? — взволнованно проговорил Митяй.

— Да вы уж, вижу, без меня успели познакомиться, — насмешливо сказал комбат. — А я-то, дурак, стараюсь, первого его представляю.

— Это та самая сестра, — застенчиво сказал Митяй. — Помнишь, я говорил?

— Та самая богачка, что звезду с Большого ковша тебе подарила? — воскликнул комбат.

И Наташа поняла, что эти люди знают друг о друге все до мелочей.

— Хоть ты, Митяй, и старый знакомый, а все же посторонись, — пробасил комбат. — Будем и мы знакомиться. Моя теперь очередь. До сих пор капитаном Ваневым был. Ну и пошли по часовой стрелке. Следующий!

— Старший сержант Ермошев, — назвал себя смуглый мужчина лет тридцати, в гимнастерке, аккуратно и строго заправленной, несмотря на то что в этот час в блиндаже отдыхали.

— Следующий! — скомандовал комбат.

С нар соскочил приземистый паренек, совсем еще мальчик с виду, и, смутившись, забыл назваться.

И сразу вслед за ним соскочил с нар, задев плечом голову товарища, высокий светловолосый парень.

Так и стояли они оба молча, пока комбат не объявил:

— А это — наши Каряги.

— Каряги? — удивилась Наташа.

— Видите, какой у нас Топорок приземистый, коренастый, — сказал капитан. — Вот и прозвали его Карягой.

Топорок покачал головой:

— Вот уж вы какой, товарищ капитан...

— Гайдай-то парень ладный, просто хоть куда, — продолжал комбат.

— Товарищ капитан... — умоляюще посмотрел на него Гайдай.

— А ты не перебивай. Никто бы к тебе такого прозвища не приклеил. — Комбат повернулся к Наташе: — Из дружбы, видите ли, принял эту кличку. Так и зовем их обоих — Каряги. Топорка — Короткий, Гайдая — Длинный. Приземляйтесь, ребята! Следующий!

Сидевший у телефонной трубки связист что-то крикнул. По батарее зычно пронеслось:

— По местам!

Блиндаж опустел.

Старший лейтенант Митяй, стоя у блиндажа, громко и отчетливо произносил цифры, повторяемые на несколько ладов у каждого из четырех орудий.

Схватив санитарную сумку, Наташа побежала туда, где, как ей показалось, было больше народу.

— Огонь!

Мгновение — и четыре пушки выбросили в тьму полотноща ослепительного огня. Грохот вылетел из стволов, вытянулся в струны и снова на том краю собрался в тяжелый гул разрывов.

Через несколько минут все смолкло.

— Расчет, в укрытие! — повторялось на разные голоса.

Митяй разыскал Наташу:

— Как рад я, что встретились мы с тобой, Наташа!.. Почему стреляли? С наблюдательного пункта сообщили, что немцы топят баню на переднем крае. Вот мы и задали гансам баню!

Подошел капитан Ванев:

— Заходите в блиндаж. Если противник засек вспышки выстрелов, не миновать артдуэли.

Не успели они спуститься в землянку, как фонарь описал полукруг и упал. С потолка посыпалась земля. У входа в блиндаж разорвался снаряд.

— Засек, подлец, чтоб его... — в полную меру впечатал Ванев, забывая о присутствии Наташи.

Связист что-то крикнул, и снова раздалось зычное:

— По местам!

— А вы здесь оставайтесь, Наташа! — крикнул Ванев, выбегая из блиндажа.

— Артдуэль? — спросила Наташа и, не получив ответа, побежала за комбатом.

Противник в течение получаса методическим огнем бил по площади батареи. Расчеты вели ответный огонь.

У четвертого орудия, упав на бок, хрипел наводчик расчета, мужчина широкой кости, лет сорока. Наташа подтянула под раненого плащ-палатку. Тащить его было трудно. Грузное тело сопротивлялось, задерживаясь на кочках.

В блиндаже Наташа разрешила на раненом гимнастерку, наложила на грудь повязку и вприснула камфору.

Раненый дышал тяжело, с присвистом.

— Если до санбата доживу, значит жив буду. — сказал он. — Постарайся, додержи меня до санбата,

сестричка! Я тебе каждую осень буду яблоки присылать. Из Алма-Аты я... Сад у меня какой!.. Постарайся...

Налет продолжался. За землянкой шумел глухой смоленский лес.

— Додержу, — уверенно сказала Наташа. — За подводой уже послали. Обязательно додержу.

Она взяла в свои руки руку наводчика.

— Полегче мне стало, — говорил раненый в полусне.

— Ой, зовут меня! — сказала Наташа. — Слышишь? Неужели еще кого ранило?

Она снова побежала к орудиям. Снаряд разорвался в нескольких шагах от нее. В плечо ударил комок глины, и сразу усталость, которую она ощущала в ногах и в спине, исчезла. Она почувствовала какое-то освобождение, почти радость, может быть оттого, что снова наступало настоящее испытание.

Наташа оттащила нового раненого в землянку. Раненый наводчик спал. Дыхание его стало спокойнее и ровнее. Наташа вернулась к орудиям.

Орудия заряжались, бросали перед собой рваный огонь, осыпавшийся вниз горстями искр, тяжело откатывались и снова заряжались. Одно за другим следовали быстрые движения ящичных, заряжающих, замковых. И только когда наводчик впивался в окуляр панорамы, все на мгновение замирали, выпрямив мокрые под гимнастерками спины. Затем все начиналось снова.

Подносчики не попевали.

— Снарядов! — кричали командиры орудий, пользуясь секундной паузой в стрельбе.

Мимо Наташи пробежал тяжело нагруженный боец. Нога его подвернулась, и он едва не выпустил из рук своей ноши. Наташа подхватила у него снаряды и пошатнулась. Хотелось положить снаряды на землю и лечь самой.

Она сделала над собой усилие и побежала за бойцом.

Обстрел прекратился. Снова дали команду:

— Расчет, в укрытие!

В темноте к Наташе подходили незнакомые люди и с любопытством вглядывались в ее лицо.

— Спасибо, дочка, во-время давеча мне со снарядами помогла, — сказал пожилой боец. — Будем знакомы — Степан Ванев. Тебе в батьки гожусь, а может, и в де-душки.

Подъехала подвода.

Обоих раненых осторожно вынесли и положили в телегу на свежее сено. Наташа уселась между ними.

— Дай руку, сестренка, — просил наводчик. — Не так страшно, когда за руку держишься. Зовут меня Андреем. Первухин Андрей. Запомнишь?..

Через час она вернулась на батарею.

У входа в блиндаж ее встретил командир батареи.

— Это было больше, чем артдуэль, — сказал комбат. — Били сразу три неприятельские батареи. И видите, все три замолчали... Но вот что я хочу вам сказать. — Он отвел Наташу в сторону. — Мне не понравилось ваше поведение во время обстрела. Почему вы ходите в полный рост под огнем?

— Неприятно кланяться каждому выстрелу.

— На войне вообще приятного мало. Имейте в виду: для начала всем понравилось, что вы смелая девушка. Но в дальнейшем храбрость, проявленная без нужды, просто из бахвальства, будет вызывать раздражение. Учтите.

Они вошли в землянку.

— Придется вам сегодня в общей землянке отлы-хать, — сказал комбат. — А завтра, если хотите, отдельную откапает.



— Нет, уж лучше я в общей буду. Можно?

— Где ж себе место выберете? — с нескрываемым любопытством спросил Ермошев.

Наташа забралась в угол землянки, натянула на себя шинель и тут же заснула.



Утром ее разбудил ломаный громкий голос:

— Карячий, карячий! Из землянки выбегай! Ложки-кружки доставай! Карячий, карячий! Самый кароший!

— Лапта приехал! Ложки в атаку! — крикнул кто-то.

Бойцы выбегали из землянок с такой же поспешностью, как вчера во время тревоги. Перед блиндажами остановилась походная кухня. Рядом с кухней лихо приплясывал пожилой круглый, как мяч, боец с широким, в рябинках, скуластым лицом. Он размахивал белым черпаком и гостеприимно приглашал к себе всех, у кого есть «курсак».

Вокруг кухни собралась вся батарея. Многих Наташа вчера не видела. Она стояла у входа в землянку и стеснялась подойти ближе. Заметив Наташу, боец крикнул:

— Здравствуй, товарищ врач! Подходи, проверяй, все ль порядок. Помощник главного повара рядовой Абулла Юсупов, образца тысяча восемьсот девяносто пятого года, — представился он.

Наташа подошла к повозке.

«Главный» и он же единственный повар батареи Борис Лапта, человек подвижной, худошавый (что делало его исключением в упитанной семье фронтовых и нефронтовых поваров), стоя на передке, раздавал хлеб Старшина Кузнецов, невысокий, тучный, весь в скрипучих ремнях и, как полагается всякому доброму старшине, при порту-

пее, стоял тут же и критическим оком оглядывал подхвачивших бойцов.

За завтраком выяснилось, что у Наташи нет собственной ложки.

— Как это вы не обзавелись? — удивился Ермошев. — А у нас тут говорят: что за гвардеец без усов, что за солдат без ложки! Ладно. У меня запасная есть.

Он вытащил из-за голенища складную алюминиевую ложку, тщательно вытер ее и подал Наташе.

После завтрака комбат Ванев вызвал красноармейца Ванева. Это был тот самый боец, которому Наташа вчера помогла дотащить снаряды.

— Товарищ капитан, красноармеец Ванев по вашему приказанию прибыл.

Наташу поразило его сходство с комбатом. У бойца было такое же открытое, доброе лицо, но глубокие морщины изрыли лоб и переносицу. Он был так же широк в груди, но годы согнули плечи.

— Оседлать четырех коней! Через десять минут едем на НП.

— Есть оседлать коней!

Боец круто повернулся и вышел.

— Что так смотрите? — спросил комбат у Наташи — Это отец мой кровный. Но служба порядок любит. Нарушать его даже для отца родного не смею.

— А как же вы очутились вместе?

Ванев засмеялся:

— Так уж вышло... Сказали мне, что пришло в нашу пехоту новое пополнение — земляки мои, из Казани. А их как раз в бане дивизионной в то время мыли. Пошел я туда земляков смотреть. Думаю, может знакомого встречу. И вот вижу: из пара выходит собственный мой папаша и в таком костюме, в каком его мама, моя, значит, бабушка, родила. Тут я его и забрал к себе. Вот и воюем вместе.

На пороге появился Ванев-отец.

— Едем, — сказал комбат. — И вас, Наташа, хочу захватить. Привыкайте.

Оба Ваневы, Топорок и Наташа сели на коней. Ваневы ехали впереди. До Наташи доносились обрывки их разговора. Ванев-отец распекал за что-то своего сына:

— Нет, Петр, не пойму, что они там у нас в правлении думают... Все колхозное добро бабе твоей доверить!.. Это же...

— Да вы не сердитесь, папаня. Как вы говорите, так Тоня и сделает. Я уж ей написал...

Ваневы подстегнули коней.

Перед неглубоким овражком спешились.

Ванев-отец снова вытянулся перед сыном:

— Товарищ капитан, какие будут приказания?

Топорок и Наташа пошли на НП. Комбат направился к стрелковым ячейкам.



Наташа подходила к переднему краю, думая, что увидит линию, за которой все будет другим.

Наблюдательный пункт был расположен на дереве и напоминал большой скворешник с окошечком. Наташа и Топорок залезли на дерево и устроились у стереотрубы.

Немецкий передний край проходил за рекой, по опушке леса.

На крест окуляров стереотрубы поймана старая церковка с отбитой макушкой. Дальше видны перелески, поляны, прозрачные березовые роши. Желтая сентябрьская листва легким, танцующим узором идет по суровой стене хвойного леса.

Наташе вспомнились выставленные в музее деловые записи Ленина на втором съезде. На полях записей мно-

го раз начертано одно и то же слово: «береза». Может быть, о таких вот перелесках мечталось Ильичу на чужбине, среди жарких партийных битв.

— Лес совершенно обыкновенный, — сказала она — Я и не думала, что линия переднего края выглядит так обычно. Просто русский лес...

— Русский-то русский, а сидят там немцы, — раздраженно сказал Топорок.

...Здесь, на самом переднем крае, проходили боевые дни Топорка.

До сорок первого года Топорок был маляром, красил крыши. Хотелось размахнуться, пройти кистью по небу. Топорок мечтал стать художником. Когда началась война, вихрастый мальчишка пришел в армию, не дождавшись призыва. И сразу стал замкнутым, сдержанным.

В постоянном напряжении он ожидал боя.

Отдежурив у трубы, Топорок выползал за речку, в лес. За этим лесом, в двухстах километрах от линии фронта, сразу за Вязьмой, стояла его родная деревня. Хата, где оставил он мать и сестренку... Живы ли?.. Ждут ли?..

Тоска гнала Топорка вперед:

— Эх, дали бы штык, сказали б — иди!

Передвигая трубу вправо и влево, Топорок тщательно «прощупывал» сектор своего наблюдения.

Наташа сидела рядом, опустив ноги на нижнюю ветку.

Она привыкла к тому, что раненые при первом же знакомстве с сестрой выкладывают о себе все. Топорок молчал.

И казалось, что маленький он такой не потому, что еще не дорос, а потому, что весь собрался, насторожился ежом. Наташиного присутствия он, казалось, не замечал.

И, может быть, именно потому ей так хотелось все

узнать об этом молчаливом, сосредоточенном пареньке. Расспрашивать она не решалась.

— Смотрите! — Топорок придвинул Наташе трубу.

Приближаясь к перекрестию, в центре окуляра шагал человек. Он был похож на плоский силуэт, вырезанный из черного картона и приведенный в движение кем-то со стороны. Фигура в окуляре напоминала Наташе кукольный театр. И вместе с тем этот игрушечный силуэт был реальным врагом. Это был немец. Немец среди русских берез! Немец шагал спокойно, словно у себя дома.

— Почему не звоните на батарею? — возмутилась Наташа. — Просите огня!

— Это называлось бы из пушки по воробьям, — ответил Топорок. — Это не наша работа.

— Так его! — воскликнул он через минуту. — А снайпер его таки снял!

Он обернулся к Наташе:

— И у меня сперва терпения нехватало. А потом понял: здесь каждому свое дело.



Вместе с Юсуповым, который привез на НП обед, Наташа вернулась в тыл.

Минуя огневую позицию, они проехали в хозяйственный взвод батареи.

Около блиндажа старшины стоял грузовик. Прямо с грузовика бойко торговал передвижной ларек Военторга. Плечистый сержант предлагал вниманию покупателей расшитые белые скатерти и ажурные накидки для подушек. Вокруг машины толпились бойцы, и товар имел огромный успех. Юсупов спрыгнул с повозки и подбежал к грузовику. Через несколько минут он бережно заворачивал в плащ-палатку большую скатерть с разводами.

— А на что она вам? — спросила Наташа.

— Как на что? — обиделся Юсупов. — Сразу видно, нет еще у тебя ни семьи, ни своего дома. Чай, домой вернешься — такая вещь в хозяйстве всегда пригодится.

— А скоро вы думаете домой вернуться?

— Скоро ли, не скоро ли, а настанет такое времечко — и вернусь.

Сержант распродал свой товар без остатка, и машина уехала.

За блиндажом старшины располагалось хозяйство Бориса Лапты.

Лапта водил Наташу вокруг походной кухни и показывал многочисленные выемки, залатанные пробоины, щели, исправления на ее круглых боках.

— По этим отметкам можно писать боевую историю нашего самовара, — говорил Лапта. — Видите, вот примято. Это перевернуло кухню взрывной волной. Крышка герметическая: суп не пролился. Встала и дальше пошла... Вот эта дырка — въехали мы с ней в деревню Дубны к разведчикам, и бедняге снова досталось.

Объяснив все изъяны своего «инструмента», Лапта стал выспрашивать у Наташи, что говорили утром о завтраке, не ругался ли кто в расчете Ермошева, что нет луку во шах, и ел ли капитан жареную картошку. Потом побегал обливать кухню кипятком и поехал с Юсуповым за водой на обед.

— Вот почему он и тощий такой у нас, — сказал старшина. — Как узнает, что кто-нибудь котелок до дна не дохлебал, — ночь не уснет, все будет ходить да гадать, почему вышло невкусно. Все повара, как повара, а этот — селедка. Даже мне за него стыдно, вроде как не кормлю я его.

Наташа узнала, что до войны Лапта был не поваром, а — как ни странно это звучало — драматиче-

ским актером в провинциальном театре на Украине. Жил он со слепой матерью и с детства привык все делать сам.

Как-то на марше Лапта удивил всех замечательным украинским борщом, и приказ по полку превратил его в повара. Теперь в работу повара вкладывал он всю свою беспокойную душу, трагически переживал каждый неудачный «дебют» и в новом деле попрежнему оставался артистом.

Наташа вернулась на огневую только в полдень.

На другой день после появления Наташи на батарее начались повальные заболевания. Один бежал к ней с порезанным пальцем, другой жаловался на обострение желудочной язвы, третий вспоминал о своем — прошлогоднем еще! — ревматизме. Блиндаж, в котором жила Наташа, превратился в амбулаторию. У входа стояла очередь. «Как же они раньше обходились тут без меня?» думала Наташа, разбирая свою аптечку.

— Ерунда! Все здоровы, — категорически объявил капитан Ванев и на три дня запретил Наташе принимать «больных».

Свою работу Наташа начала с санитарного осмотра расчетов и блиндажей. Самой аккуратной и чистой оказалась землянка Ермошева. Да и обмундирование на нем было как-то особенно подтянуто, пригнано точка в точку. Умел Ермошев все делать так, словно это не представляло для него никакого труда. В этот день он был дежурным по караулу. За двадцать минут до вечернего развода Ермошев лег отдохнуть и устроился так удобно, так прочно, что Наташе показалось — он улегся по крайней мере на целую ночь.

До войны Ермошев работал шофером в Семиречье, был всегда сам себе хозяин. Времени оставалось вдо-

сталь. Любил крепко хватить водки и гнать машину куда глаза глядят по крутым дорогам тянь-шаньских гор. Не одну ночь проплакала на крыльце жена, дожидаясь неизвестно где запропавшего, загулявшего мужа.

Его мобилизовали в первую неделю войны.

Все решила одна единственная минута. Эта минута дала Ермошеву возможность выбраться из окружения со своей машинной, спасти жизнь себе, полковнику и десяти раненым.

С этого дня он постиг суровый закон войны...

Наташа попросила Ермошева показать ей, как действует орудие.

— Сразу этого не одолеть, — ответил Ермошев. — Хотите заниматься — в месяц сделаю вас наводчиком. Замените, если меня убьют, — сказал он не то в шутку, не то серьезно. — Не задаром только заниматься буду. И до вас есть просьба. — Он потоптался на месте, расшвыривая валенком комья снега. — Прожил я как-то, не скучно, конечно, день ото дня двадцать девять своих годов и ни разу не оглянулся. А теперь не время, конечно, да захотелось разобраться маленько, что к чему. Не знаю... Может, с истории партии начать? Раздобыл себе «Краткий курс», да одному страшно браться. Если не лень, помогите.

Он подошел ближе и сказал тихо:

— А если кому-нибудь расскажете об этом, сразу врозь наша дружба. Возьмут еще и в газете пропишут. А я этого не люблю. Так что — совершенно секретно.

Договор был заключен.

...Побежали однообразные оборонные будни. По утрам, недовольно ворча, но подчиняясь, бойцы, полуобнаженные, вылезали на морозный воздух и выворачивали перед санинструктором свои рубашки. Потом



тянулась вереница мелких забот. Чисто ли вымыты котелки? Поставлены ли по блиндажам мышеловки?

С утра до вечера Наташа бегала между огневой, разведзводом и кухней, всегда боясь что-нибудь не успеть, и всех уверяла: на переднем крае такой воздух — устать невозможно. Проверив порядок в землянках и сняв пробу, обходила больных, в свободные минуты изучала специальность разведчика на НП Топорка и специальность наводчика у орудия Ермошева, занималась с Ермошевым по «Краткому курсу», читала в блиндажах журналы и газеты.

Но стоило ей к вечеру где-нибудь прикорнуть — и она засыпала на полуслове.

Скоро Наташа знала на батарее всех по фамилии, имени и отчеству.

Батарейцы казались ей замечательными, очищенными от всего мелкого и наносного, что оседает часто на душе пожившего человека.

Конечно, здесь, как и всюду, люди оставались людьми, со всем тем светлым и темным, что находит себе место в человеческом сердце. Но Наташа видела в окружавших ее людях только одно хорошее.



— Убрала бы ты, Наташа, блиндажи поуютней, поженски. Хоть бы на минутку почувствовать себя дома, — сказал как-то Ермошев.

— Нужно ли это? — спросила Наташа у капитана Ванева. — Зачем обживать передний край? Мне кажется, нужно, чтоб нам всегда хотелось уйти отсюда.

— Это так, и все-таки вы неправы. Здесь приходится жить. Каждый час отдыха в мало-мальски человеческих условиях дорог солдату.

Наташа задрапировала стенки землянок плащ-палатками, раздобыла портреты, плакаты, вышила шторы — целую горсть фиалок рассыпала по старенькой, стираной марле. При тусклом свете коптилки это имело не такой уж плохой вид.

Убранство блиндажа напоминало театральную декорацию в любительском спектакле. Но как ни прилаживала Наташа шторы, стараясь, чтобы они казались как можно наряднее, Ермошев говорил ворчливо: «Нет, не то, не то». Отчаявшись ему угодить, Наташа прибила шторы совершенно просто, так, как их прибивают в обыкновенной комнате. Ермошев одобрительно улыбнулся: «Вот именно, именно так! Чтобы всё, как дома». Через три дня во всех землянках стало почти совсем «как дома». В первом расчете даже кошку завели.

А через неделю все было раскидано очередным огненным налетом.

Дымчатая Мурла, прихрамывая на передние лапки, металась между обвалившихся блиндажей, путаясь в разбросанных по огневой шторах.

— Снова отстроим, — сказал капитан Ванев.

Огневую перенесли на триста метров правее. Наташа снова повесила шторы и убрала блиндажи. И все стало попрежнему. Попрежнему, возвращаясь к рассвету с нейтрального поля, голодный и злой Топорок не ложился спать, не счистив с брюк липкую глину. Попрежнему Ермошев разглаживал свои подворотнички утюгом, который он нашел недавно в селе, у сожженной избы.

Было в этом какое-то утверждение себя и своего человеческого достоинства, вопреки жестоким, нечеловеческим условиям жизни солдата на войне.

От постоянной внешней подтянутости пожилые бой-

цы выглядели моложе своих лет. (Зато молодые казались старше — слишком серьезно смотрели глаза.)

А Наташа убегала в лес и, прячась за елями, сбрасывала с себя гимнастерку. В ржавой солдатской каске стирала белье и одежду и тут же сушила их на морозном ветру, волнуясь, что ей помешает обстрел или боевая команда. Руки то обжигались горячей водой, то стыли и коченели. В той же каске мыла и голову.

Оказывается, и здесь, на переднем крае, война требует от нее прежде всего — как ни странно — умения шить, стирать и чинить. Конечно, чтобы избежать излишних хлопот, проще было бы срезать косы и надеть мужскую одежду, которую бойцам меняли каждую неделю в полковой бане. Но тут поднимал голос старшина батареи.

— Я за всякое батарейное добро отвечаю, — заявлял он авторитетно. — И безобразия такого, чтобы косы стричь, допустить никак не могу.

Старшина раздобыл костяной гребень с расписной резьбой и торжественно, при всей батарее, вручил его Наташе вместе с голубым платком, купленным в Военторге. Голубой платок не шел к военной форме, но по всеобщему настоянию приходилось его носить.

Десятки глаз ревностно и требовательно следили за Наташей.

Каждый хотел увидеть в ней что-то общее с той, которой не было здесь.

В блиндаже старшины хранился толстый журнал — полный инвентарь всего имущества батареи. Первым номером в журнале стояло: «Пушка, калибр 76 мм, образца 36-го года — 4 штуки». В конце последней страницы мелкими буквами была сделана приписка: «Женская юбка бумажная армейского покроя — одна». Старшина решительно отказывался вычеркнуть эту строчку.



Шла битва у Сталинграда, а в смоленских болотах ждали, учились, готовились. Подносчики становились наводчиками, наводчики — командирами орудий. Топорок уже управлял огнем батареи.

Менялся и лес за рекой.

Порвалась, облетела сентябрьская листва. В октябре лес стоял сиротливый и голый. Обнаженные березы подымали к небу тонкие ветки. В ноябре на деревьях повисли серебристые бисерные нитки инея, сплетенные в паутину. В декабре белыми пушистыми лапами разлегался по елям снег.

Только одно оставалось неизменным: фронт не двигался.

Очень трудно так вот стоять в обороне, знать наизусть каждую огневую точку врага, знать и терпеть...

...Минута затишья на переднем крае. Глубокие извилистые траншеи. В амбразурах — молчаливые пулеметы. За пулеметами — настороженные часовые.

Изредка взлетит ракета, ослепительно белая, лиловая или малиновая, вырвет кусок леса из мрака, приподымет над горизонтом черную завесу — и снова темно.

Прислушается Топорок. Чуть скрипнуло дерево. Шорох. Или это с верхушки осыпался снег? Нет, не ветка скрипнула, не осыпался снег — чьи-то крадущиеся шаги. Фриц с топором.

— Товарищ семьдесят пять! Немцы строят блиндаж на переднем крае. Разрешите огоньку? — говорит Топорок в трубку.

...Выжидающе притаились орудия батареи у заснеженной опушки леса. Потрескивают железные печурки в землянках.

Спокойно в чистых, уютных блиндажах. Так бывает иногда и на войне.

Знают огневики: не спят, не смыкаются их зоркие «глаза» на переднем крае.

— Чего ты хочешь больше всего на свете? — спрашивает Гайдай у Ермошева.

— Того же, чего и все, — разбить немца.

— Так того все хотят. А чего именно ты больше всего хочешь?

— А именно я больше всего хочу, чтобы ты в душу ко мне не лез, — отвечает Ермошев, подумав про себя, что больше всего хотел бы увидеть сейчас Анну — жену...

— Вот ведь ты какой!.. А я больше всего на свете хочу, чтобы второй фронт скорее открылся.

— Голубиная ты душа! — смеется Ермошев. — Нашел о чем печалиться. Да они его в самый раз откроют.

— Помнишь, когда мышка прибежала в сказке «О дедке да репке»? — спрашивает Гайдай Ванев-отец.

— А может, и раньше, — с надеждой говорит Гайдай.

— А я так больше всего хочу, — вздыхает Ванев-отец, — чтобы невестка моя сараи колхозные в покое оставила.

И снова — в какой уже раз! — он начинает жаловаться товарищам:

— Подумать только, десять лет работал главным кладовщиком в колхозе. Такие у меня там запасы добра — на пять пятилеток хватило бы. — Ванев-старший осторожно косится в сторону, где спит его сын. — И вот на тебе: вертихвостке этой, бабе его, доверили. Что она в инструменте поймет?

Ванев замолкает и присматривается к сыну.

— Спит, крепким сном спит, — шепчет Гайдай.

— Да я ему и в глаза скажу, — немного громче говорит Ванев-отец. — Развалит она хозяйство, что есть — разбазарит. Вернемся — опять мне все начинать...

— По местам!

Команда раздается внезапно. Но, оказывается, только ее и ждали. Мгновенно ломается тишина.

Через несколько секунд расчеты у орудий.

— ...фугасный! Навести и доложить.

— Первому один снаряд — огонь!

— Лев, выстрел, — сообщает связист Топорку.

Правее себя Топорок слышит разрыв. Нет, это не там, где нужно.

— Товарищ семьдесят пять, право тридцать.

— Левее! — раздается на батарее.

— Лев, выстрел, — сообщает связист.

— Точно!

Ермошев ошибается редко.

— Четыре снаряда, беглый огонь!

На немецком переднем крае прямо перед Топорком взлетают тяжелые султаны земли. С грохотом падают доски и бревна.

...И снова тихо в землянках на огневой.

— А уж не рассказать ли вам, хлопцы, как я женился? — лениво потянувшись, предлагает комбат Ванев.

Приезжая на огневую, комбат по вечерам отдыхал в штабном блиндаже. Разляжется с удобством во всю ширь лежанки, расставит свои могучие ноги, закинет руки за голову, и начинается уже неоднократно слышанный, но воспринимаемый все с тем же интересом бесконечный рассказ. В рассказе фигурируют и синий в крапинку сарафан, надетый на ней в то первое утро, и его нескладные лапти, что были тогда на нем некстати,

и ее строгий папаня — бригадир колхозный, и почему-то крынка топленого молока с румяными пенками.

В блиндаже все больше неженатая молодежь. Ванев-отец от этих рассказов обычно уходит.

— Ну-ну, и дальше? — сгорая от нетерпения, торопит Митяй.

— Пришли вы к ней, и тут же... — хочет подтолкнуть рассказ застенчивый Гайдай.

Наташа молчит, но ей хочется поскорее услышать, как все это кончится.

— Умейте ждать, — отвечает Ванев. — Все это не так скоро делается. И вот пришел это я к ней...

— Трудно теперь нам будет хорошую невесту выбрать, — задумчиво говорит Лапта. — Отвыкли от девушек... Где их там разберешь!

— А я, — вздыхает Митяй, — могу рассказать только одно: как я не женился. Хотите?

— Рассказывай хоть это, коль другого нет ничего, — снисходительно басит Ванев.

Митяй долго молчит и, наконец решившись, начинает, ни на кого не глядя:

— Ну вот. Было это в прошлую зиму. Стояли мы в избе, у хозяйки. Очень мне понравилась ее дочка. Сидим мы с ней целые вечера. Взглянуть на нее не смею. Так и не сказал я ничего дивчине. Только пришлось нам из этой деревни уйти. Вернулись мы туда с боем как раз через месяц. Пришел я на ту улицу, только избы той уже нет и дивчины нет. И где она, так и не знаю...

Согревшись у печек, уже полудремут в землянках расчеты.

— По местам!..

— Взрыватель осколочный!.. Угломер... Прицел...

Отстрелялись — и снова тихо.



Стоят на опушке осыпанные голубыми лунными искрами ели. А луна идет по небу полная, ясная, словно солнце.

Ни Наташе, ни Митяю не хочется спускаться в душный блиндаж.

— Вот и луна тоже, как я, — говорит Митяй. — Идет по небу одна. Видно, и ей досадно и скучно.

Повернулся к Наташе:

— Эх, Наташа, милая, так и пройдет по землянкам наша с тобой юность! И когда же это кончится? Ведь вот встретились мы с тобой...

Из блиндажа голос дежурного телефониста:

— Лейтенанта Митяя срочно к командиру полка.

Не досказал Митяй, убежал.

И ей, так же как и Митяю, досадно, что в такой вечер она одна.

— Хорошо! — тихонько говорит Наташа, оглядываясь, и тут же удивляется: — Разве может быть хорошо, если нет ни одного письма от Сережи?

Ей казалось когда-то, что без него хороших вечеров не бывает. И все-таки вечер хороший. Нет, значит он жив.

Где он? Что делает в эту минуту? Знает ли он обо всем, что ей пришлось пережить?..



Ударили крепкие морозы. Часовые на посту отбивали чечотку, попрыгивали бойцы у орудий. Наташа разорвала свое верблюжье одеяло и выстелила шерстью все валенки на батарее.

— Что это ты делаешь? Вот матери напишу, — пригрозил Ванев-отец.



— Пиши!

И Наташа прочла вместо ответа:

Лишь лежа  
                                в такую вот гололедь,  
зубами  
                                вместе  
                                проляскав —  
поймешь:  
                                нельзя  
                                на людей жалеть  
ни одеяло,  
                                ни ласку.

В землянке стало тихо.

— А верно ведь, — сказал Митяй. — Нельзя.

И Гайдай подтвердил:

— Нельзя.

Наташа продолжала читать. Она читала негромко и, должно быть, не очень хорошо. Но все сидевшие в землянке были захвачены этим неровным голосом, потому что шел он от самой ее души и от самого существа волнующих строк. Весь вечер, трижды перебиваемый боевыми командами, она читала вслух Маяковского. И так звучали строчки из поэмы «Хорошо», словно только вот этого года, этого дня ждали они, чтобы заговорить во весь голос.

В этот вечер батарейцы многое поняли в Наташе. Но самой Наташе было еще далеко до полного понимания законов жизни на батарее.

Солдатская мудрость давалась не сразу.

Как-то вечером противник открыл огонь по первой траншее. Обстрел продолжался уже четвертый час. Из землянок не выходили. Топорок лежал у выхода и жадно глотал с ладони снег.

— Не напьешься этим. Хоть бы глоток воды! — говорил он и снова сосал снег. — Печку бы развести...

— Комбат покажет тебе печку, — ответил кто-то из землянки.

Наташа сняла с гвоздика котелок, спрятала его под ватник и вышла из блиндажа.

Рядом разорвался снаряд. Она упала и поползла. Об снег чиркали разрывные пули и вспыхивали, как спички.

Прорубь была посреди нейтрального поля, в шести-стах метрах от блиндажа.

Когда Наташа вернулась в землянку и протянула Топорку котелок, он сердито посмотрел на нее, не говоря ни слова выплеснул воду за дверь и весь вечер с ней не разговаривал.

Через неделю была дивизионная разведка. В поиск назначили не Наташу, а санинструктора соседней батареи. Все-таки она пошла с разведчиками. В эту ночь в хоззвезде был ранен Лапта, и старшина долго искал по батарее Наташу.

Операция прошла удачно, разведчиков наградили, а Наташе был объявлен строгий выговор по полку.

— Я предупреждал вас, — сказал капитан Ванев: — не всякую смелость здесь уважают.



Наташа отдыхала в углу землянки, прикрывшись шинелью.

В землянку вошли бойцы. Сняв автоматы, они легли. То ли потому, что день был пасмурный, то ли просто они устали, но у всех четверых на душе было необъяснимо скверно.

— Очень люблю кошек, — уныло сказал Гайдай.

Ему никто не ответил.

— Чтоб шерсть черная, гладкая, а глаза горели. Почему в первом расчете заимели кошку, а у нас нет?

Дома вот у меня была такая одна. Негритенком ее звали...

— Вот завел нуду! — взорвался Ермошев. — Кошки да кошки! Дома да дома! Да у меня дома, может, не то что кошка — жинка, и не черная, а белая, как ясный день, и то молчу! Не бреди ты душу, добром говорю, и без тебя тошно.

Наташа уже давно заметила, что Ермошев часто без видимых причин раздражался, когда ему напоминали о доме.

Она не знала, что в такие минуты он видел свою жену, кроткую и терпеливую женщину, такой, какой он ее заставлял на крыльце, возвращаясь домой под утро. Ермошев никогда не слышал от нее упреков. Но теперь, вспоминая ее, чувствовал и угрызения совести, и жалость к жене, и досаду, что времени назад не вернуть...

— Ну, и чего ты в бутылку полез? — обиженно спросил Гайдай у Ермошева.

— Глаза бы мои тебя не видали! И как только Топорок дружит с тобой!

— Что я тебе плохого сделал?

— Не война — и не посмотрел бы на тебя. Точно. Нужда горькая заставила с нюней в одной землянке жить. Кончим войну — на улице встречу, на другую сторону перейду.

— Неправду ты говоришь, Ермошев, — не поверил Гайдай. — Встретишь — и как еще обрадуешься!

— Ни боже мой, не надейся. И шапки не сниму. Нудный ты все-таки парень, Каряга, и это факт.

— Не пойму я тебя, Ермошев, — сказала Наташа, сбрасывая шинель. — Живешь с человеком в одной землянке, а поделить с ним чего-то не можешь...

Ермошев отвернулся к стенке и скоро заснул.



Из блиндажа слышался смех.

Наташа остановилась у входа. Ухмыляясь, из землянки вышел Ермошев.

Увидев Наташу, он отвернулся и сказал в сторону:  
— Ступай, Наташа, тут до тебя пришли.

Посреди блиндажа стояла молодая девушка.

Черная барашковая папаха сдвинута на затылок. Светлые волосы подстрижены под мальчика. Над блестящими карими глазами — выщипанные стрелки бровей. Полные, резко очерченные губы. Расстегнутый воротничок гимнастерки.

Увидев Наташу, девушка поспешно застегнула воротничок и поправила портупею.

— Вы Наташа Крайнова? Здравствуйте. Пришла познакомиться с вами. Вот уже три недели работаю в штабной батарее. Алла Широкова.

По знакомому Наташе фронтовому обычаю, Алла поинтересовалась, не землячками ли они друг другу приходятся. Поговорили каждая о родных местах, о своей довоенной жизни.

— Девчат здесь нет... слова сказать не с кем, — пожаловалась Алла.

— Ты теперь ко мне приходи почаще, — сказала Наташа. — А сегодня в честь нашего знакомства мы устроим маленький пир.

Из угла землянки был извлечен деревянный ящик, доверху наполненный румяными «верненскими» яблоками.

— За ваше здоровье!

Они ударяли яблоко о яблоко так, будто держали в руках бокалы с шампанским. Им было весело. И обоим казалось, что они уже давно знакомы.

— Откуда это у тебя? — спросила Алла.

— Посылку получила сегодня.

Она показала на крышку ящика. Под номером полевой почты батареи стоял обратный адрес: «Андрей Первухин. Алма-Ата Улица...»

— Был у меня раненый такой, наводчик наш...

В углу ящика из-под яблок выглянул голубоватый доскут.

— Что это? — воскликнула Алла.

— Не знаю.

Девушки с любопытством разгребли яблоки и вытащили сильно помятое бумажное платье в голубой горошек.

Наташа прикинула платье к плечам.

— Чудесно! — захопала в ладоши Алла.

— А теперь ты примерь, — попросила Наташа.

Алла сбросила гимнастерку и надела платье.

— Будто по тебе шито, — сказала Наташа. — Знаешь что, носи его, а?

— А ты?

— Да когда же мне его тут надевать, на батарее? У вас в штабе спокойнее.

Когда Алла снова оделась в военное, Наташа завернула платье в газету и засунула сверток в Аллину полевую сумку.

— Не возражать начальству, товарищ младший сержант, — сказала она.

Алла чувствовала к Наташе большое расположение. Но к расположению примешивалось еще какое-то менее приятное чувство — может быть, зависть.

Алла была в армии с того дня, когда всех работников почты, где она служила, собрали в кабинет заведующего и сказали, что началась война. Она успела уже поработать и в госпитале, и в санбате, и в стрелковом полку.

Сколько людей прошло за это время через ее руки! Но не было ни одного, который бы вспомнил о ней уехав.

Зато многие были внимательны к ней, пока видели ее ежедневно. И пусть Наташа не думает...

— А теперь посмотри на мои обновки, — сказала Алла. — Хочешь?

— Конечно!

Алла провела рукой по начищенной медной пряжке кожаной портупей.

— Комсоставская.

Она подняла с лежанки двубортную, аккуратно сшитую шинель с золотыми пуговицами.

— А это начальник ОВС постарался.

Алла вытянула ногу, обутую в изящный хромовый сапожек.

— Нравится?

— Очень.

— Джимми... Сосед наш — командир саперного батальона — в своей мастерской заказал. А ты чего зеваешь? — Алла только сейчас разглядела, как одета Наташа. — Раньше меня в полку, а во всем солдатском.

— Что ж тут такого? Я и правда солдат.

— Да, но ты девушка. Как же можно так? Сапоги огромные, гимнастерка полинялая.

Алла говорила теперь тоном, в котором звучали покровительственные нотки. Она оглядывала Наташу со всех сторон и откровенно сокрушалась, не без удовольствия чувствуя свое превосходство и даже желая чем-то смягчить его. Теперь ее самолюбие было вполне удовлетворено, и потому Наташа снова казалась ей совершенно замечательной. И она искренне была готова сделать для Наташи все что угодно.

— Возьми у меня шинель, — сказала Алла, — а я в тулупе пока похожу.

— Ну, что ты!..

— Правду говорю, бери... Не хочешь?

Алла смотрела на свою новую подругу и думала, чем бы еще можно было помочь ей.

Хорошая девчонка эта Наташа... Простая такая... И с ней можно обо всем поговорить.

— Скажи откровенно, ты не скучаешь здесь? — спросила Алла.

— Совсем даже не скучаю, — сказала Наташа.

— И верно, зачем скучать!

Она достала трофейную зажигалку — наверное, тоже чей-то подарок, — зажгла папиросу, неумело затянулась и закашлялась.

Алла ушла. В землянку вернулся Ермошев. Он громко выругался и сказал с сердцем:

— Прости, конечно, Наташа, но передай подружке своей, чтоб ноги ее на батарее больше не было.

— Вот как? А мне казалось, вы очень мило беседовали.

— Очень даже мило. Совсем Ермошев размяк. Много ли нужно? А ребята такое сейчас порассказали о ней, что мне просто тошно стало.

Наташа знала, что Ермошев во многом прав, и все-таки ей было обидно за Аллу.



— Ящичные, к панораме! — кричал Митяй. — По пехоте гранатой!.. Взрыватель осколочный!.. Буссоль!.. Прицел!.. Уровень!.. Пять снарядов, беглый огонь!

Огня не следовало.

— Подносчики, к панораме! — снова кричал Митяй. — Стрельба по движущимся танкам!.. Бронебойно-зажигательный!.. Наводить по башне!.. Огонь!..

Огня не следовало.

— Ермошев, ко мне! Принять командование батареей!

На батарее проводились учебные занятия по взаимной заменяемости номеров.

И когда на очередную учебную команду огня не последовало, рядом со штабным блиндажом загрохотал взрыв.

— Расчеты, в укрытие!

— Другого времени не выбрали для налета своего, гансы проклятые! — ругался Митяй. — По графику занятия, а они...

В блиндажах из-под накатов осыпался песок. Загасли коптилки.

— Белка, я — Орех! Белка, я — Орех! — тщетно вызывал связиста взвода управления дежурный телефонист.

Гайдай надел на спину катушку и выполз из блиндажа.

Скоро налет прекратился.

— К орудиям! — снова крикнул Митяй. — К панораме, замковые!

Через двадцать минут занятия кончились, и расчеты разошлись по землянкам.

— А Гайдая все нет, — сказала Наташа.

— Вот дитя-то! — проворчал Ермошев. — Без няни дорогу домой не найдет!

Он вышел. И сразу передышка кончилась. Налет возобновился. Били теперь не по батарее, а левее, ближе к переднему краю. С мерной последовательностью чередовались разрывы.

...Они вернулись вдвоем, Гайдай сидел у Ермошева на плечах. Сапог с ноги Гайдая был сброшен, на носке запеклась кровь.

Перевязав Гайдая, Наташа заметила, что и у Ермошева оцарапан висок.



— Нашел он меня в лошине, — начал рассказывать Гайдай. — В такой мы с ним переплет попали! — Гайдай повернулся к Ермошеву: — А еще говорил, что не любишь меня... Я знал, что ты это просто так.

— Ладно уж, лежи, — сердито ответил Ермошев и принялся за починку шинели. — Любишь — не любишь! Вот еще что, чего придумал!

Наташа лежала на нарах, не вмешиваясь в их разговор. Да, Ермошев совсем не считал Гайдая своим другом, а свой поступок — выражением особой дружбы и смелости. Просто так нужно было, и все. И неожиданно ей стали понятны и выговор за самовольное участие в разведке и злость Топорка, когда он выплеснул из котелка воду. Она смотрела на Ермошева, который, повернувшись к Гайдаю спиной, занимался своей шинелью, и думала о многом, что до сих пор было ей непонятно. На переднем крае подвиг становится делом самым обычным. Его расценивают не как проявление каких-то высоких, необычайно благородных чувств, а как то, что само собой разумеется. На переднем крае единственная мера поступка — его необходимость. Здесь нет места пустой романтике. А ей с самого детства, с поры «Красных дьяволят», хочется сделать что-то большое. Но не всегда это желание кстати. Другие сразу становятся нужными для серьезных дел... Ее взгляд упал на полку для котелков, прибитую над входом. А ей приходится ждать. Ждать и каждое утро проверять чистоту котелков. Хотелось встать и сказать Ермошеву: «Знаешь, а своего я все равно дождусь».



В дивизионной газете появилась статья о снабжении. В статье было написано, что начальники ОВС нередко снабжают в первую очередь тех, кто поближе к

штабу, а о людях переднего края они подчас забывают. В качестве примера упоминалась фамилия батарейного санинструктора Крайновой.

Наташа была недовольна неизвестным автором.

На следующий день ее вызвали в ОВС и сняли с нее мерку, а еще через день принесли новенькие сапожки, юбку, гимнастерку и шинель.

Статья в газете была ей неприятна, и потому она не очень обрадовалась обновкам.

Зато батарейцы внимательно рассматривали и сапожки и новую юбку. А старшина достал с полки инвентарную книгу батареев, разлиновал лист до конца, поставил в первой графе очередные номера и, с удовольствием вырисовывая буквы, вписал в инвентарь новое батарейное имущество.

— Вот теперь и ты у нас не хуже этой девчонки, — сказал Ванев-отец. — Посмотрели мы на вас обеих... да и надумали...

Когда Ванев и Наташа случайно вдвоем задержались у орудия, старик под строжайшим секретом сообщил ей, что писать в газету решили всей батареей сразу после прихода Аллы Широковой, что сочинял письмо артмастер Глушиков, а ошибки исправлял сам комбат, капитан Ванев.



Вторые сутки не возвращался Топорок с нейтрального поля. Разведчики искали его повсюду. Наташа всю ночь не могла уснуть и к утру решила, что это как раз то самое дело, которого она так долго ждала.

Не сказав никому ни слова, она вышла из блиндажа. Блеск солнца на звонком, подмороженном насте казался ярче самого солнца. При такой видимости каждый человек у переднего края превращался в мишень.

И все-таки ее радовало ясное утро! Ей казалось, что Топорок ждет помощи именно от нее, и потому она не чувствовала себя одинокой в тихом, насторожившемся фронтовом лесу.

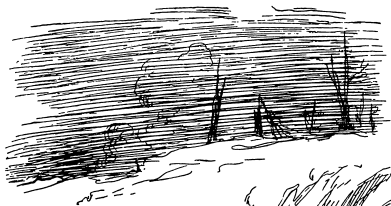
Однако, отойдя километра три от батареи, она сбилась с пути. Трудно было придумать что-нибудь хуже! Заблудиться теперь, когда дорога каждая минута... А Топорок где-то лежит и ждет...

Наташа пошла вперед наугад. За лесом показался знакомый деревянный крест кладбища. Это кладбище было ее излюбленным ориентиром. Ермошев часто смеялся над нею: «Тоже мне вояка! От кладбища, как от печки. А как двигаться начнем, придется кладбище с собой захватить?» Наташа обрадовалась кресту, как радуются старому, испытанному другу. Она подбежала к чугунной кладбищенской ограде, крепко вцепилась в нее, словно боясь потерять найденное, и оглянулась вокруг. Ну да, это дорожка, что идет от батареи. Значит, к НП сюда. Обогнуть овраг... Тропинки распутались.

Вот и река, перерезающая нейтральный пустырь. Как трудно ползти по узкому проходу минного поля! Подмороженная корка снега с хрустом трескается под телом. Нужно не ползти, а мягко, бесшумно плыть по снегу, бесшумно протаскивать колени и локти. За березой, которую она заметила в первый день, кончается участок наблюдения батареи. До березы еще метров четыреста. Сколько раз нужно еще вот так протолкнуть себя? За березой — старый блиндаж. Не там ли лежит Топорок?

Злополучная прорубь напомнила Наташе историю с котелком. Конечно, путешествие за водой было простым бахвальством.

Но сейчас действительно нужно собрать все мужество... Если она погибнет сейчас, никто даже не узнает



о ней... Как сильно хрустит наст!.. Осторожней!.. Слева из-под снега выглянула плохо запрятанная деревянная крышка мины. Все-таки напрасно она ушла, никому не сказав... Вернуться?. Но, может быть, где-то совсем недалеко лежит и ждет Топорок...

В блиндаже за березой Топорка не было. Наташа вспомнила свою любимую поговорку: «Человек стóит столько, во сколько он сам оценит себя». Просто нужно решить, что можешь, — и сможешь. И она сделала то, что разведчикам редко удавалось в такие ясные дни: она скатилась на лед, переползла реку, ползком выбралась на противоположный берег и снова поползла вдоль реки. Этот берег условно считался немецким. До проволоки противника оставалось сто метров. Наташа надеялась на свой маскхалат. Однако скоро снайпер заметил ее и открыл стрельбу. Она сползла в воронку. Начался поединок на терпение. Соломинки прошлогодней травы, торчавшие из-под снега прямо перед ее глазами, казались ей лесом. Наташа пересчитывала их и обещала себе, что покинет воронку, как только досчитает до сотой. Но вот уже десятый раз она доходила до сотой, а снайпер не давал поднять голову. И все-таки она чутьем угадала минуту. Может быть, снайпер отвернулся закурить или на мгновение просто отвел глаза. Наташа выбралась из воронки и, распластавшись по снегу, поползла снова, но не назад, а вперед. Пули ложились у нее за спиной: снайпер бил по пустой воронке. Она добралась до следующей воронки и отпрянула: на дне воронки, лицом к земле, лежал человек.

Наташа отползла назад, в нерешительности остановилась и снова придвинулась к воронке.

Человек повернул окровавленное лицо. Синие, отекавшие веки плотно закрывали глаза. Правая рука потянулась вверх и тут же упала.

Это был Топорок. Его беспомощность сделала Наташу увереннее. Она спустилась в воронку, открыла санитарную сумку и занялась Топорком так, как если бы воронка была приемной полевого госпиталя. Уложив его поудобнее, она растерла ему окоченевшие ноги, сделала укол, заставила отхлебнуть водки.

Топорок сладко потянулся и лениво сказал:

— Не хочу слезать с печи. Ох, и тепло же здесь! Дай калача.

Наташа смочила водой из фляги половину солдатского сухаря.

Топорок лениво приоткрыл левый глаз — другое веко не поднималось, — сквозь щелочку медленно осмотрелся и встретился взглядом с Наташей. Глаз расширился

— А я думал, что это мамка. Где мы?

Они пролежали в воронке до темноты и добрались до батареи только ночью. Топорок отказался ехать в госпиталь, боясь, что попадет оттуда в другую дивизию. Капитан Ванев приказал Наташе ехать вместе с Топорком в санчасть полка.

— Вылечите его — вернетесь.

.....  
На батарею они вернулись через три недели.



Теперь Наташа хорошо знала всех батарейцев. И уже совсем не все в них казалось ей замечательным. Она поняла наконец, что они самые обыкновенные люди, точно такие же, как всюду. Один из них был ворчлив, другой — груб, третий — вспыльчив, четвертый — слишком подозрителен. Бывали иногда по землянкам и у орудий мелочные столкновения, ссоры, споры. И все-таки жили батарейцы дружно, грубовато, по-муж-

ски заботились друг о друге, знали друг о друге все, до мельчайших подробностей.

К Наташе на батарее относились теперь с особой бережностью.

Однажды, возвращаясь с НП на огневую, Наташа провалилась по пояс в засыпанный снегом окоп. Снег набрался в валенки, и чулки промокли. В землянке на огневой было пусто: расчеты занимались у орудий. Наташа стянула с себя чулки, разложила их перед дверцей железной печурки, села рядом и задремала...

— Плохо живете, огневики, — над самым ухом пробасил капитан Ванев. — Это ж не землянка, а камера окуривания.

Наташа вскочила. Блиндаж был полон дыма и гари.

У входа за капитаном Ваневым с виноватым лицом стоял Ермошев. А у Наташиных ног, прямо перед дверцей печурки, валялись остатки сгоревших (единственных к тому же!) чулок.

— ЧП<sup>1</sup> в нашем хозяйстве, товарищ комбат, — сказал Ермошев.

— Три наряда за это полагалось бы, — говорил вечером старшина. — А если сейчас приказ о наступлении привезут? Что я с тобой — сяду и плакать буду?

И три дня вся батарея дружно издевалась над беспомощным положением, в котором очутилась Наташа. А через три дня ее вызвали в штабной блиндаж и, ни слова не говоря, вручили какой-то сверток. Оказывается, нашелся у кого-то старый шерстяной шарф. Кто-то распустил его. Кто-то на самодельных спицах связал огромные, неуклюжие, но плотные шерстяные чулки. Наташа так и не узнала, чьих это рук работа, но замысел, как объявили, был общий.

---

<sup>1</sup> Чрезвычайное происшествие.

— «Я много дарил цветов да букетов, — вспомнил Гайдай строчку, которая запала ему в память с того вечера, когда Наташа читала стихи Маяковского, — но больше всех дорогих даров...»

Гайдай запнулся и посмотрел на товарищей, ожидая поддержки. Ермошев достал из ватника записную книжку, поискал нужную страничку и прочел:

...я помню  
и пол- морковь драгоценную эту  
          полена  
                  березовых дров.

— А я не забуду ваших чулок, ребята, — сказала Наташа.



Наташа шла в хозяйственный взвод снять пробу. Было еще темно. Ее кто-то окликнул. В трех шагах от тропинки, рядом с землянкой, по колено в сугробе стояла девушка в ватных брюках и старательно мылась снегом. Когда Наташа подошла ближе, девушка выпрямилась.

— Откуда ты взялась? — удивленно спросила девушка.

— А ты откуда?

— Вот из этой землянки. Приходи ко мне. Спросишь Женю Колосову... Первую девушку вижу за целый месяц!

На обратном пути Наташа спустилась в блиндаж.

Женя оказалась москвичкой, землячкой, чуть ли не с одной улицы. Она ушла на фронт из девятого класса. Женя работала санинструктором танкового батальона. Дела у ней были те же, что и у Наташи, и им было о чем поговорить. Женя с увлечением рассказывала о



чистых котелках, с важностью — о своем авторитете. Наташа слушала ее с удовольствием, но Женин рассказ, несмотря на серьезность тем, почему-то напоминал Наташе детский лепет, а сама Женечка, хорошенькая, румяная, немножко курносая, с ямочками на пухлых щеках, — капризного, избалованного ребенка.

Женя перевела разговор на заветные девичьи темы.

— Скажи, влюблена ты в кого-нибудь у себя в полку? — спросила она с нескрываемым интересом.

— Нет.

— Как же так? — разочарованно протянула Женя.

— Я люблю человека, которого здесь нет.

— Вот оно что... — продолжала Женя и, подождав, не спросит ли Наташа ее о том же, но так и не дождавшись, таинственно сказала: — А я — только это секрет — влюблена. — И, опять не дождавшись дальнейших распросов, добавила: — И он меня очень любит.

— Кто же это? Начальник штаба или, может быть, начальник ОВС? — насмешливо спросила Наташа.

— Значит, и ты думаешь только плохое, — обиделась Женя. — А я-то обрадовалась, что подругу нашла, что можно поговорить. Все ведь одна...

Женя отвернулась.

— Кто же он?

— Простой воентехник. Веткин. Андрюша Веткин. Знаешь?

— А свадьба когда?

— Только после войны. В Берлине или в Москве, — гордо ответила Женя. — И ни днем раньше. А ты думала, по-другому?.. Только помни, что об этом — никому-никому, — понизив голос, предупредила Женя.

Она стала ежедневно приходить к Наташе на батарею. Говорила о пустяках. Беспричинно смеялась. Соседи по блиндажу пожимали плечами:

— К чему на войне держат детей?

Скоро танковый батальон, в котором работала Желя, получил приказ занять новые рубежи.



Немцев разбили под Сталинградом, погнали по донецким степям. А по Западному фронту приказ был все один: держать оборону.

Попрежнему учились и ждали. Долгими зимними вечерами в землянках читали письма от жен, от невест, от «незнакомок» из далекого тыла.

«Папочка, — писала Ермошеву дочка, — я рада, что ты у меня уже самый старший сержант. Папочка, напиши мне, каким хлебом кормите вы разведчиков. Я бы им только белый давала, без карточек, по сколько хотят...»

Раздраженно смотрели на руки, отвыкшие от работы.

— Эх, на недельку бы хоть к нам в колхоз батарейцев наших! — вздыхал Ванев-отец. — Как они там без нас, бабы-то?..

Любили вспоминать о женах, о семьях. И пусть далеко не у всех гладко и безмятежно складывалась довоенная жизнь, отсюда, из этой землянки, все прошлое казалось лучше, чем было на самом деле. И Ермошев, так и не сумевший, а может быть, не успевший понять жену, вспоминал теперь о ней с болью и нежностью. Все неполадки, неурядицы, страдания довоенной жизни были все же человеческими переживаниями и зависели от некоторых извечных несовершенств человеческой природы (с которыми можно все-таки мириться). Здесь, на войне, приходилось сталкиваться с чем-то таким, что выходило за пределы человеческого. Поэтому казалось, что если придется опять пожить

мирной жизнью, все эти мелкие неурядицы можно будет устранить, что жить можно будет гораздо лучше, чем прежде.

Переговорив все о любимых и близких, вспоминали родные места.

Глушиков рассказывал о тех временах, когда он работал главным механиком спичечного завода. А Ванева-отца, как всегда, волновала судьба хозяйства, на которое он положил десять, а иногда ему казалось — уже пятнадцать лет своей жизни, и бывший ответственный кладовщик каждый вечер пилил сына за то, что жена его взялась не за свое дело.

Однажды капитан Ванев получил из дому большой пакет с надписью «ценное».

— Чего такого ценного женушка прислала тебе? — спросил отец. — Поцелуев, наверно, полный конверт?

Капитан разрезал пакет.

— Вот, отец, моя вертихвостка тебе ко дню рождения посылает.

Он передал отцу плотный листок бумаги. На листке было напечатано золотыми и синими буквами: «Грамота». Этой грамотой награждалась Антонина Ванева, старший кладовщик колхоза имени Тельмана, за досрочную подготовку инвентаря к весеннему севу. Капитан Ванев, посмеиваясь, смотрел на отца, который, одолжив у Лапты очки и придвинув к себе все три коптилки, недоверчиво изучал листок с синим и золотым ободком.

Топорок смотрел на товарищей с горечью:

— Ваш дом за спиной. Что от моей деревни осталось — думать боюсь.

А перед Наташей в такие вечера вставали дни предвоенного лета, легкие бескрайные дороги первого туристского маршрута, ясное небо вечного полярного дня,

под ногами — сквозной ледящий ветер с озера Имандра и нетающий снег, над головой — черный жесткий камень хибинских ущелий и пробивающийся сквозь камень к солнцу альпийский цветок.

Минуты походных невзгод были самыми счастливыми в этом путешествии. Так легко было итти, без конца итти, подниматься, карабкаться, прыгать через ручьи.

— Скажи, ты не думаешь теперь, что меня не возьмут на фронт, если будет война? — спрашивала Наташа Сергея. — Теперь я знаю, что возьмут обязательно...

В полутемной землянке, затерянной в смоленских лесах, Наташа ясно видела залитый неуходящим солнцем обрыв скалы в долине Умбтэк, что по-лапландски значит «дважды непроходимая».

— Неужели это когда-нибудь кончится? — спросил Сергей.

— Нет.

— Почему?

— Я так хочу.

— А еще почему?

— Я люблю тебя...

И ей снова казалось странным, что можно видеть это одной, без него. И она снова чувствовала, что он где-то живет...

Как бы далеко ни убежали ее мысли, какими бы личными они ни были, они в конце концов приводили к тому, что было общим для всех в этой землянке: как можно скорее итти в наступление и скорее возвращаться к человеческой жизни. Но она верила, что это стремление, как и множество других обстоятельств, продумано и взвешено в московском Кремле, что наступление на Западном фронте в районе Вязьмы начнется в день, определенный необходимостью общей битвы, — не раньше и не позже ни на один час.



Ночью прискакал в часть лихой офицер связи и вынул из-под черной бурки депешу — боевой приказ.

— Натянуть шнуры!

Все застыло в напряжении.

— За поруганную Родину, за Советскую землю по фашистским гадам — огонь!

Первый раз командовал Митяй в наступлении. Секунда — и «боги» заговорили. Митяй отдавал приказания, стоя посреди огневой, раскрасневшийся, взволнованный, с разметавшейся по лбу прядью, с нахмуренным лицом, в ватнике, накинутом на плечи.

Все дрожало от грохота. Переговаривались знаками.

Капитан Ванев, управлявший огнем батареи с переднего края, шел прямо за пехотой. Ванев стал еще невозмутимее, чем обычно. Только исчезла обычная его неповоротливость.

Разведчики батареи шли вместе с комбатом. В море грохота, с отблесками вспышек в глазах, Топорок прислушивался к выстрелам и, привычно угадывая разрывы, время от времени говорил:

— Вот ударили. Слышишь? Эту батарею я засекал. Эту — тоже. Еще раз!

Там, за этим лесом, — родная деревня. Но думать об этом было страшно.

Целые сутки продолжался бой за первые три траншеи.

На рассвете началось преследование.

— Дождались! — говорил Топорок, входя в лес за рекой.

Освобождение шло вместе с весной и торопило ее. Лес сбрасывал оцепенение зимы. Франтоватые елочки

страхивали с лапок талый снег. От разрывов ломался лед и разливалась река.

У опушки леса Наташа увидела Женю Колосову, которая бежала в сторону батальонного медпункта. Руки у Жени были по локоть в крови, брюки обрызганы кровью, щеки покрыты ссадинами. Она на ходу махнула Наташе рукой и скоро вернулась с носилками.

— Помогите, Наташа! У меня санитаря ранило.

Они поползли вперед.

Земля содрогалась.

«А Женя совсем не боится», подумала Наташа, и ее охватило неприятное холодящее чувство. В присутствии людей взволнованных или беспомощных она всегда чувствовала себя уверенно и спокойно. Но вид Жени, не замечавшей, а может быть, не понимавшей опасности, как чаще всего бывало и с ней самой, на этот раз взволновал ее. Однако зря прижиматься к земле не хотелось.

Девушки прислушивались к свисту летящего снаряда и определяли на слух, рядом или поодаль он разорвется. Если поодаль — продолжали ползти, если рядом — ложились, оглядываясь друг на друга (Женя всегда после Наташи), и почему-то обе закрывали лица пилотками.



Несколько дней Наташа была с огневицами.

В эти дни она поняла, что война — прежде всего тяжелый, изнуряющий труд, колоссальная трата человеческой энергии, что на войне труда больше, чем даже самой войны. Пехота делала по шестьдесят километров в день, следуя на плечах противника, не давая ему уходить живым. Пушки должны были не отставать от пехоты, поддерживать ее огнем. Болотистая, топкая

смоленская земля расступалась перед весенним солнцем; дороги раскисли; реки вышли из берегов. Уходя, немцы заваливали пути буреломом, взрывали мосты, наводили ложные переправы, минировали дороги.

От мин гибло людей больше, чем от всех других видов огня. Пушки приходилось тащить на руках. Каждые двести-триста метров орудие застревало, люди слезали с передка и с лафета, входили по колено в ледяную мартовскую воду или густую, вязкую грязь и вытаскивали застрявшее колесо. Через двести-триста метров все повторялось снова. Снова слезали, бежали к лесу, издалека тащили на себе бревна и прокладывали настил. Так двигались круглые сутки напролет в одном неизменном направлении — на запад.

— Вагу, вагу давайте! — зычно кричал капитан Ванев.

Каждая жилка становилась заметной на его крепкой, короткой шее. Иногда он расталкивал всех и сам тяжело наваливался грудью на подставленное бревно. Но чаще капитан бывал не с орудиями, а впереди.

Митяй горячился и на каждой досадной вынужденной остановке расходовал свои силы, казалось, до конца. На следующей остановке он начинал все снова. Если ему нехватало по молодости выдержки и терпения, то душевная и физическая энергия — тоже по молодости — была в нем неиссякаемой.

Глушиков, маленький и щуплый, собственных сил не испытывал, но всегда вспоминал школьную физику и старался что-нибудь изобрести. Нередко своими учеными размышлениями вслух он вызывал всеобщую злость, и его отстраняли.

Ермошев обычно держался молча, делая то же, что и другие, но если все мнения были высказаны, а орудие попрежнему стояло на месте, инициатива неизмен-

но переходила в руки Ермошева. Говорил он негромко, односложно, но слова его принимались без споров и даже не как команда, а как голос самой необходимости.

Наташа наравне с остальными бралась за лопату. Когда кто-нибудь из бойцов останавливался передохнуть, Ванев-отец подталкивал уставшего и говорил:

— Не совестно ли? Смотри на девчонку!

Приезжали на позицию в темноте, расставляли станины и начинали закапываться. Но часто бывало, что, не успев войти в откопанную землянку, снимали с прицельных приспособлений чехлы и стреляли. С НП передавали координаты каких-то неизвестных, никогда не виданных целей. Из стволов вместе с огнем вылетали снаряды.

Куда? Ничего в окуляре не видно, кроме тусклого огонька «летучей мыши», привешенной сзади и заменяющей ночную точку наводки.

Стреляли и сейчас же сворачивались.

И опять ехали на новое место, а там снова зарывались в землю.

Тут же, на ходу, приходилось ежедневно разбирать, мыть и чистить орудия. Смазочное масло застывало на тряпке.

Однажды Наташа провалилась на переправе. Валенок застрял и так и остался между бревнами под водой. До приезда старшины, по совету Ермошева, пришлось привязать к ноге утепленную соломой коробку из-под патронов.

Если можно было разжечь небольшой костер и протянуть к огню озявшие ноги, Наташе казалось, что вокруг нее вырастают стены, что большего комфорта и представить себе нельзя.

Ермошев, ставший теперь командиром орудия, в любых условиях умел создавать несложный солдатский



уют. То пришьет к валенкам своих людей березовую кору, чтобы ноги были сухие, то смастерит из ведра маленькую печурку, да так, что не видно ни дыма, ни пламени.

Но чаще костры запрещались, и по неделям не было никаких надежд отогреться. Немец не оставлял на своем пути ни одной избы.

В морозные ночи Наташа совсем не садилась, боясь замерзнуть и больше не встать. Ванев-отец глядел на нее и говорил бойцам:

— Если она терпит такое, то нам сам бог повелел. Вытерпим. Ничего до самой смерти с нами не случится.

Хозяйственники — Борис Лапта, Юсупов и старшина Кузнецов — не отставали от батареи, а часто то по сугробам, то по лужам на санях перегоняли орудия и вырывались к самой передовой.

Кухня работала на ходу, рассыпая за собой по дороге раскаленные угли. Лапта подъезжал к каждому орудью, наливал в котелки смесь первого и второго и ехал дальше.

Даже теперь, в наступлении, старшина не забывал, кому нужно привезти пуговицу, а кому — бритву. Только Наташину просьбу — достать ей брюки — попрежнему пропускал мимо ушей.

— Одна юбка в полку, и ту выбросить? Нет, не выйдет.

Когда орудие прицепляли к новому грузовику, бойцы набивали на борт машины планки, чтобы Наташе было удобнее влезать, а старшина говорил:

— Видишь, заботятся. А брюки и не проси, не выйдет.



В дни наступления Ванев-отец исполнял обязанности ездового: дважды в день, всегда в одно и то же время, отвозил термосы в разведзвод. Однажды с НП позво-

нил капитан Ванев и строго спросил старшину, почему запаздывает обед.

— Разведчиков из-за вас голодными на работу отправил. Не хочет Ванев работать в хоззвезде — завтра в разведку пойдет!

— Товарищ капитан, разрешите сказать: ездовой Ванев выехал, как всегда.

Ванев-отец вернулся в хоззвод к вечеру, без шапки, бледный, согнувшийся в плечах больше, чем обычно.

— Что с тобой приключилось? — спрашивал старшина. — Я уже людей посылал на розыски.

— Беда, товарищ старшина, — ответил Ванев. — Виноват я, кругом виноват, с меня и спрашивайте. Серко я загубил. Ехали мы по большаку. Да сплосал я: мину на обочине не заметил. Ступил Серко — и взлетел на воздух. Головы и передних ног не найти. Все клочьями разлетелось. Какого коня загубил!..

Его побелевшие губы дернулись.

— Да перестань ты о коне, — пытался успокоить Ванева старшина. — Сам-то чудом в живых остался!

— Нет, ты мне не говори: из-за этого Серко на первое место по дивизии вышли бы.

— Лапта, приготовить снова обед разведчикам! — приказал старшина.

— Да что вы, товарищ старшина! Разведчики накормлены. Неужто уж во мне совести совсем не осталось? Термосы я на себе дотащил. Только от капитана крепенько мне досталось.

...На другой день Ванев запрягал Бурого.

— Может, не ездить тебе сегодня, старик, а? — уговаривал его старшина. — Юсупова пошлю. После вчерашнего боязно мне тебя отпускать.

— Эх, товарищ старшина! Судьбы бояться — на войну не ходить.

— Тогда хоть другим путем поезжай.

— А зачем же другим? Нужно завтрак доставить в срок. Эта дорога самая короткая. Нет уж, чему быть — того не миновать.

Ванев обернул термосы кожухом и уехал.

...Завтрак снова запаздывал на НП. Капитан Ванев, который уже вторые сутки сидел на дереве, не покидая наблюдательного поста, стал беспокоиться, не случилось ли чего с отцом.

Его сверлила острая жалость. Жаль было отца и потому, что вчера крепко выругал его при всех, и потому, что никогда не имел старик поблажки ради своих лет. У другого бы командира служил — сидел бы в обозе, с седой-то головой. А тут нельзя... Капитан был требователен к отцу так же, как к себе и как ни к кому другому на батарее. А сейчас ему было обидно за отца и больно от всего того, что считал он и справедливым и неизбежным... Может, беда стряслась со стариком?

В смутной тревоге отрывал капитан глаза от трубы, чтобы взглянуть на пустую дорогу.

Из хозвзвода на НП позвонил старшина:

— Прибыл ли завтрак? Нет? Иду сам.

Старшина взял Юсупова, и они пошли.

У позорота дороги бессмысленно кружил на одном месте Бурый, обрызганный кровью. На земле валялись шепки от саней и оторванная человеческая рука. Вокруг были разбросаны окровавленные клочья шинели. Два термоса лежали рядом опрокинутые, совершенно целые.

— Ай, нехорошо! — только и сказал многословный обычно Юсупов.

Старшина молча взвалил на плечи термос с супом. Юсупов взял на лямку термос со вторым. Не проронив больше ни слова, они зашагали к переднему краю.



После того как завтрак в разведзвод принес старшина, никто не видел в лицо капитана Ванева. Он не спускался с дерева, где был оборудован наблюдательный пункт, ни для сна, ни для еды; с дерева отдавал приказания.

К вечеру огонь усилился.

— Все по ямам! — приказал капитан Ванев разведчикам и только сам остался на дереве. Он засекал вспышки, делал быстрые расчеты и тут же отдавал команду в телефонную трубку.

Внезапно капитан всем телом подался вперед и наткнулся грудью на что-то острое. Огненные спирали закружились перед глазами. Охваченный пламенем, стоял перед ним отец с термосом за плечами, стоял и не горел.

— Хочешь, сынок, щей? — спросил отец. — Твоя молодуха сготовила.

— Не надо, папаня, — ответил капитан Ванев. — Тебе не жарко?

Ветка хрустнула под ногой и ускользнула куда-то. Ванев потерял равновесие и схватился за ствол...

Когда артналет кончился, разведчики вылезли из ям... Комбат лежал у подножья дерева, на спине, широко раскинув ноги и разбросав руки, убитый осколком в грудь навывлет.



На пеньке, у самой дороги, спрятав голову в колени, сидела Женя.

Она подняла мокрое, перепачканное лицо:

— Андрюша мой... Убили...

Женя уткнулась в Наташино плечо и расплакалась совсем как маленькая, громко, навзрыд. Слезы текли по опухшим, поцарапанным щекам.

Она даже не вытирала их, а только без конца повторяла

— Почему он, а не я?

Наташа вспомнила их первый разговор о свадьбе в Москве или Берлине. Что могла сказать она этой девочке?

Наташа обняла подругу, не утешая ее словами.



В бою за Крючково Митяй был ранен.

Командир дивизиона приказал проводить лейтенанта до санитарной части. Опираясь на плечо Наташи, Митяй встал. Они шли по ровному, открытому полю. Поле казалось Митяю морем. Оно колебалось под ногами, качалось и набегало волнами. Митяй схватился за Наташу, пошатнулся и сел на землю. Наташа опустилась рядом с ним. Снаряды свистели, визжали, выли над их головами.

— Перебиты мои крылышки, Наташа. Выбирайся отсюда, пока и тебя...

— Не брошу я тебя одного, Володя, — сказала она, впервые называя его по имени.

Она посмотрела на него с упреком.

— Не обижайся, Наташа, — виновато сказал Митяй. — До санчасти еще далеко. Видишь, хутор стоит? Вот туда бы добраться.

Он обнял ее за шею, и они поползли. Тяжелые, спутавшиеся косы били его по спине. Одна перекинулась через плечо и коснулась его лица. Митяй хотел что-то сказать и не смог.

«Лишь бы ее не ранило! — подумал он. — Лишь бы до хутора нам добраться!»

Он снова ничего не сказал и только дотронулся губами до ее косы. Наташа не заметила. Тяжело дыша, она

продолжала ползти и тащить его за собой. Огонь не стихал.

Строение, которое Митяй принял за хутор, оказалось заброшенным сараем. Наташа втащила Митяя внутрь, и они легли на солому в угол, прислушиваясь к близким разрывам. Митяй отдыхал. Боль куда-то ушла.

— Спасибо, Наташа, — сказал наконец Митяй. И много других слов поднялось в душе. И ни одного не произнес он вслух.

Крупный осколок снаряда попал в стену, шитую тонкими досками, пробил ее насквозь и ударился в противоположную стену. С той и с другой стороны полетели доски. Наташу и Митяя осыпало щепками.

Быстро стемнело.

Яркие мгновенные вспышки врывались в сквозные щели. Временами Наташа и Митяй оказывались на свету и ясно видели друг друга.

Временами все стихало, и на них падала глухая, темная ночь.

Над ними поскрипывали полуоторванные балки крыши.

Сквозь щель Митяй следил за полетом сорвавшейся с неба звездочки, а потом тучи заволокли небо, и ночь стала ненастной; ни звезд, ни месяца. Только прорежет сарай ослепительный свет вспышки — и снова непроглядная темь.

Становилось холодно. Митяй дрожал в своей легкой ватной куртке. И снова вспомнилось Наташе:

...зубами  
                  вместе  
                                  проляскав —  
поймешь:  
                  нельзя  
                                  на людей жалеть  
ни одеяло,  
                  ни ласку.

Она сняла с себя шинель и накрыла Митяя.

— Нет, я не хочу так. Ты простудишься, — сказал Митяй.

Наташа натянула на себя край полы. Они лежали под одной шинелью, касаясь друг друга локтями.

— Наташа, я давно люблю тебя, — прошептал Митяй, — очень давно. Помнишь, когда я первый раз увидел тебя? Я не хотел говорить...

Жаль Наташе Митяя. Провела рукой по его плечу:

— Митяйка ты мой хороший! Чего бы я сейчас для тебя не сделала! Только считай, что рядом с тобой родная сестра.

— Нет, не сестра ты мне, Наташа, — ответил Митяй.

— Митяй, славный, хороший! Скоро кончим войну, поедем домой. Девушку найдешь, женишься, меня на свадьбу пригласишь.

— А если не вернусь?.. Может, мне и не вернуться с войны, Наташа... Никогда не жениться. Ты говоришь — найдешь, а зачем мне искать? Я нашел...

В сарае стало совсем тихо. Только изредка поскрипывала ветхая крыша.

И вдруг что-то оглушительно грохнуло.

Когда Наташа пришла в себя, рядом с ней лежала круглая балка. В крыше сарая зиял пролом.

Она стала шарить руками вокруг себя и под балкой натолкнулась на тело. Снова полоснул свет, и она увидела проломленный лоб. Она наклонилась и поцеловала Митяя.

Это было прощание с мертвым. Как ему хотелось счастья! Так жаль Митяя, что плакать уже нельзя.

Она вынула из кармана его разорванной гимнастерки комсомольский билет, заявление о приеме в партию, фотографию матери, вылезла из сарая и под огнем поползла к переднему краю.



Вот уже вторые сутки лежали стрелки цепью в открытом поле перед деревней Грачи.

Трижды они поднимались в атаку, и трижды жестокий огонь прибывал их к грязному талому снегу.

Усталость серой тенью легла на губы и щеки и сделала всех пехотинцев будто бы на одно лицо.

Капитан Никитин сидел в своей ячейке на корточках, прислонясь спиной к мокрой стенке окопа, и тщетно пытался зажечь папиросу отсыревшими спичками.

Настроение у капитана было скверное. Неожиданная безотчетная тоска по дому, ненастный холодный вечер, бесконечное топтание перед Грачами...

Бывают ведь такие вот вечера, когда вдруг все навалится сразу!.. Хоть бы эти Грачи найти! И какого чорта они топчутся?.. Если бы поручили сейчас ему с одними разведчиками... Никитин с досадой бросил спички на бруствер и стал ходить по окопу. Может, просить у хозяина разрешение испытать свои силы? Подумаешь, Грачи, не видали птицы страшнее! Как же, разрешит он... А пожалуй, и разрешит. Видно, там артиллерии натолкано на каждом вершке. Только нужно с батальоном связаться. И действительно, почему он не взялся за это раньше?

Никитин протянул связисту папиросы, попросил огоньку, выпрыгнул из окопа и зашагал на КП. Через час он был у разведчиков пятой батареи.

Капитан был оживлен, взволнован. Его живые карие глаза возбужденно блестели. Говорил он резко, уверенно:

— Сам с вами пойду. Грачи нужно сегодня взять непременно. Так и сказал хозяин: «Только пушкарям Грачи доверяю».

— Товарищ капитан! — обратилась Наташа к Никитину. — Разрешите и мне идти вместе с вами.



— Собирайтесь.

Разведчики миновали пехоту и пошли через поле прямо по направлению к деревне.

Артиллерия Грачей отстреливалась непрерывно. Небо смешалось с землею в ту ночь. Ветер взметнул к небу топь смоленских болот, и звезды увязли в иле. Во тьме тонула линия горизонта. Итти — значило выволакивать себя из массива мокрого снега, воды и глины. Капитан Никитин шел в вязкую тьму, плотно набитую визжащим железом, просто, будто к себе домой. Провалился по поясу в яму. Вместо проклятий — взрыв смеха. Никитин шел так, словно не было ни мин, ни слякоти, ни холода, ни мокрых портянок, ни стертых ног. И для разведчиков во всем мире не было сейчас ничего важнее проклятых Грачей.

На пути еще одна лужа, в которую провалился Никитин. Наташа широко шагнула в воду прямо за капитаном.

На ней был короткий белый тулупчик. И тулупчик и сапоги промокли насквозь. В сапогах хлюпало. Подошвы скользили. Она не ощущала тяжести набухшей водою одежды.

Шли так, словно в первый день. А за плечами уже две бессонные недели.

Шли так, словно впереди праздник, ждут за накрытым столом. А впереди ошетинились вытянутыми стволами тяжелые немецкие пушки.

Никитин поднял разведчиков, целые сутки пролежавших на мокром снегу, рывком лихой, почти беззаботной дерзости.

«Возьмем деревню — и всё!»

На самом деле в этот вечер в Никитине не было беззаботности. Он отдавал себе полный отчет в огневой мощи Грачей. Острее, чем кто-либо, ощущал он холод, прони-

зывающий тело под каждой шинелью, саднящую боль стертых подошв в каждой насквозь промокшей паре сапог.

Вот и крайние хаты.

Наташа думала, что они сейчас же вбегут в деревню. Но Никитин приказал всем спрятаться под мостом. В щель между бревнами радист просунул антенну.

«Так, так, так», заработал ключ.

Никитин определил координаты и дал команду орудиям.

Грачи притихли и притаились.

— Передавайте ключом, — сказал Никитин радисту: — «Приказываю немедленно атаковать Грачи первой роты второго батальона справа, второй — слева, третьей и четвертой — в лоб. Нахожусь впереди».

И только когда роты поровнялись с мостом, разведчики во главе с Никитиным выскочили из своего укрытия и впереди рот бросились в деревню. Казалось, хлесткий попутный ветер несет разведчиков за капитаном. Наташа тоже бежала следом за Никитиным. Первая траншея оказалась пустой. Бойцы, увлеченные быстрым успехом, кинулись по узким ходам сообщения во вторую траншею и попали под перекрестный огонь фланговых пулеметов. Рядом с Наташей остановился на миг, пошатнулся и повалился на спину незнакомый боец. Она потащила его к балке, что проходила позади нейтрального поля. Когда Наташа вернулась назад, рота снова отступила к первой траншее.

— Дать огонь по второй траншее! — приказал Никитин.

— Товарищ капитан, расстояние между траншеями незначительно. Мы вызываем огонь на себя, — сказал новый командир батареи, заменявший теперь Ванева и Митяя.

— Знаю. Другого выхода нет. Мы в руках ваших наводчиков.

— Я снимаю с себя ответственность за батальон.

— Я беру ответственность на себя.

Прямо перед батальоном на вторую траншею обрушилась огненная стена. В первой траншее лежали не шелохнувшись.

Наташа переползала от раненого к раненому, накладывая повязки.

Никитин тревожно следил за огнем. Осколки свистели над головами.

— Достаточно. Прекратить огонь! — приказал Никитин. — Вот это наводчики! Точность какая! — добавил он с восхищением.

Батальон снова устремился ко второй траншее. Немцы бежали в глубь деревни и прятались за хаты.

Пулеметный огонь рвался из окон, дверей, чердаков и поворачивал бойцов назад. Никитин выбежал вперед, взмахнул рукой и тут же упал. Наташа наклонилась над ним и увидела залитый кровью сапог. Сразу вслед за Никитиным вперед вырвался худощавый офицер. В сумерках Наташа не разглядела его лица, но заметила, что через его плечо на ремешке перекинута «лейка».

— За Родину! — крикнул офицер и, кинув из-за плеча гранату, первым бросился по широкой деревенской улице.

Наташа бинтовала Никитину ногу и торопливо прилаживала фанерную шину.

Справа и слева в деревню входили роты, направленные Никитиным в обход. Командир батареи вел огонь по дороге немецкого отступления.

Никитин уже сидел на крыльце избы, куда подтащили его санитары, и через связных передавал приказания о преследовании противника.

Наташа, не глядя, перевязывала локоть подбежавшему к ней офицеру. Случайно она увидела «лейку», перекинутую через плечо, и подняла глаза. Перед ней блеснули знакомые роговые очки корреспондента Гольдина.

Оказалось, что перед боем Гольдин находился на командном пункте батальона в ожидании операции, разбор которой нужен был для завтрашнего номера газеты. Стремясь получить самый свежий материал, он пошел вместе с ротами и принял участие в траншейном бою.

Сняв с ремешка «лейку», Гольдин сделал несколько снимков и подошел к крыльцу.

— Спасибо вам, капитан, — сказал Никитин. — Выручили вы меня.

— Да что вы! — застенчиво отмахнулся Гольдин. — Разрешите узнать подробности операции.

Гольдин вынул из планшетки общую тетрадь и вечную ручку. Он присел, разложив бумаги на правом колене, как на походном столе.

Через несколько минут Гольдин подошел к группе бойцов. Щуря под очками большие близорукие глаза и теребя тетрадку, он снова походил на студента больше, чем на командира.



Силы дивизии были на исходе.

В ожидании пополнения дали приказ занять оборону.

К вечеру немцы перешли в атаку. Наша пехота вынуждена была отойти.

Ермошев, пушка которого еще вчера была выдвинута на прямую наводку, приказа об отступлении не получил.

Может быть, так было нужно. Может, не успели передать приказ.

Он оставался на месте. Да он и не мог уйти: машина была подбита.

Бросить орудие казалось невозможным. Взорвать пушку — не поднималась рука.

У орудия, кроме командира, оставались Наташа и Юсупов. Юсупов привез расчету обед и задержался случайно.

Когда был израсходован предпоследний снаряд, Ермошев приказал прекратить стрельбу.

Гул боя отошел на восток. Мертвая, пустая тишина обступила ельник. Хотя то, что ушло, было войной, смертью, Наташе казалось, что жизнь покинула притихший лес.

Ермошев установил в растворе станин ручной пулемет.

— Круговая оборона. Верно, Юсупов?

Юсупов то вскакивал и, отбегая на несколько шагов, прикладывал ладонь к уху, то снова садился на свой термос.

— Ай, товарищ командир! — испуганно вскрикнул Юсупов. — Танка, слушай — большая танка идет на нас! Они прислушались.

— К орудию!

Наташа стала на место наводчика, Ермошев — замковым, Юсупов — ящичным.

В окуляре панорамы было видно, как от темного лесного массива по ту сторону поля отделился танк.

— Скорей, скорей, товарищ командир! — беспокойно повторял Юсупов.

— Обожди, — остановил его Ермошев.

Обернувшись к Наташе, он отдавал короткие приказания:

— Подпустить танк как можно ближе. Целиться наверняка. Не забыть про упреждение. Помни — только один снаряд!

Танк пересекал поле, приближаясь к опушке. Танк

рос на глазах. Наташа понимала Юсупова. Ей тоже хотелось как можно скорее дернуть натянутый доотказа шнур. Казалось, не шнур, а собственные нервы были натянуты до предела.

Но со снарядом, единственным и последним, расстаешься не сразу.

Она ждала, впившись глазами в окуляр панорамы. Танк двигался прямо на нее. Она уже различала башню, гусеницы...

Танк подходил к ельнику. Загремела башенная пушка.

Регулируя направление панорамы, Наташа поймала уязвимое место танка в перекрестии окуляра, еще раз проверила точность наводки и сделала знак второму номеру. Ермошев замкнул ствол орудия, и Наташа дернула шнур.

Орудие выстрелило вздрогнув. Танк остановился

Башенная пушка танка продолжала стрельбу. Вокруг ельника ложились воронки разрывов.

Орудие Ермошева молчало. Замолчал и танк.

Из танка выскочил солдат, за ним другой. Оглядываясь на ельник, они согнулись над гусеницей.

Юсупов, беспокойно бегавший между орудием и передком, крикнул что-то непонятное и выбежал вперед. Засунутый за ремень черпак — он так и забыл снять его после обеда — мешал ему. Он отодвинул черпак за спину и бросил одну за другой три гранаты.

Когда Ермошев и Наташа подбежали к нему, он стоял над трупами немцев и кухонным полотенцем торчащим из-под ремня, стирал со лба капельки пота. В танке больше никого не было. Оказалось, что башенная пушка вышла из строя.

Они вернулись к орудию, опустили ствол и закидали его ветками.

— Ни один снаряд нет, — снова забеспокоился Юсупов. — Что если снова танка пойдет?

— Не пойдет, — убежденно сказала Наташа, желая его успокоить.

— Может, и пойдет, — угрюмо возразил Ермошев. — Факт. Чего ему не пойти? Попали мы, как говорится, в вагон для некурящих.

Он поправил ремень, отряхнул гимнастерку. Его обычная подтянутость казалась сейчас почти шегольской. Только злее сдвинулись брови и стали еще строже серьезные, озабоченные глаза.

— Нет ли чего закусить, старик? — сказал он совсем неожиданно.

— Эх, я и забыл! — спохватился Юсупов. — Курсак пустой — голова пустой. Поешь — может, чего придумаешь. От обеда каша с мясом маленько осталась.

Ермошев отстегнул от передка запасную флягу.

Выпили молча.

— Придумал чего, товарищ командир? — с надеждой спросил Юсупов, когда каша была съедена.

— Придумал, отец, — ответил Ермошев. — Ляжем да отдохнем.

— Отдохнем? — разочарованно переспросил Юсупов.

— Что, для такой придумки кормить не стоило?.. Спать по очереди, — предупредил Ермошев.

Впрочем, никто не спал. Они лежали на плащ-палатках прислушиваясь... Выл ветер. Сыпался снег, перемешанный с холодным мелким дождем. Юсупов бормотал какие-то непонятные слова, похожие на молитву. Ночь тянулась бесконечно. Наташин тулуп обледенел и примерз к брезенту. Рассвет вставал лениво, медленно, серый, грязный, такой же, как ночь.

В тишину грубо ворвался гул, слишком знакомый, чтобы ошибиться. Наташа приподнялась. Гранаты?

Ермошев не шелохнулся.

— Что с тобой? — испугалась Наташа.

— Нельзя выдавать себя — с нами оружие.

— Что же нам остается?

— Ждать.

Наташе казалось, что нужно немедленно что-то делать. Бездеятельное ожидание было мучительно.

— Ты не командир орудия, а просто завхоз, — неожиданно вырвалось у нее, и она сейчас же пожалела об этом.

— Самое важное сейчас — сохранить пушку, — сказал Ермошев, пропустив мимо ушей ее замечание. — Наши должны вернуться. Недели не пройдет, как мы будем в Вязьме.

— Что командир придумал, то правильно, — отозвался Юсупов.

А Ермошев сказал:

— Всякое может случиться. Но гранаты оставим на крайний случай, если придется взорвать и себя и ее — Он с грустью посмотрел на немую и, как ему казалось, голодную пушку.

Танк проехал где-то недалеко, задевая ели и с треском ломая ветки. За танком прошел отряд — до батальона пехоты.

Они лежали втроем, прижавшись друг к другу, притаившись, замерев в ожидании.

Небо светлело.

«А мама, должно быть, сегодня всю ночь не спала, — подумала Наташа. — Нет уж у нее, наверно, ни одной невыплаканной слезы. Хоть бы знала она, что все это не напрасно».

Наташа вырвала из блокнота листок и написала:

«Секретарю первичной организации ВКП(б) дивизиона. Прошу принять меня в ряды ВКП(б). Мы не покину-



ли орудие. Если нам не уйти отсюда, все равно вы найдете нас. Считайте, что я умирала членом партии.

Член ВЛКСМ, старший сержант Крайнова».

Подумав, она добавила: «А все-таки кажется мне, что еще поживу». И она прочла все это вслух.

Ермошев молча взял у нее карандаш и бумагу, что-то написал на листке и, не читая вслух, вложил в левый карман гимнастерки.

— Как думаешь, командир, а моя примут? — робко спросил Юсупов.

Небо очистилось. Стало светло и тихо. Отдельные елочки, возвышаясь над молодой зарослью, уходили в высокое небо, поддерживая его своими узенькими плечами.

В восьмом часу тишину нарушили орудийные выстрелы и протяжный крик с той стороны, куда вчера отошли наши войска. Мимо ельника, справа и слева, бежали немцы.

— Вот теперь можно себя обнаружить, — сказал Ермошев. Он вскинул ручной пулемет и приказал: — Гранаты!

Через несколько минут в тяжелый топот вмешалась русская речь.

Пробежала группа бойцов.

— Место как будто то, — говорил один голос.

— Здесь они и были, товарищ капитан, — отвечал другой.

Ермошев раздвинул ветки и вышел из ельника. К ельнику подходили новый комбат, Топорок и Борис Лапта.

— Товарищ капитан, орудие невредимо. — Ермошев обернулся к Лапте: — Да вы с завтраком! Вот это совсем хорошо!

Через пятнадцать минут к ельнику подвезли снаряды.

— Расчет, к орудию! — снова командовал Ермошев обычным своим глуховатым голосом.



Дивизию вывели из боя и поставили на отдых. В обед привезли почту.

Есть у солдата в бою отзывчивый, умный друг — узкий листок армейской газеты. Трудная это работа — быть армейским газетчиком. Каждый день приходится газетчику «смирять себя». Хочется написать рассказ или очерк. Сжатые столбцы небольшого листка имеют свои законы: нельзя много говорить об одном, нужно успеть рассказать обо всех.

Все разведчики батареи и многие огневики нашли свои имена в газете. Несколько строк написано было и о Наташе. Фамилия офицера, первым ворвавшегося в село, не указывалась.

...Наташа смотрела на бойцов, читавших армейскую газету — листок о себе — раньше писем и центральных газет. За листком вставала худошавая фигура капитана Гольдина, который пишет обо всех и о котором некому писать.

К ней подошел Ермошев.

— Хочу я тебе что-то сказать, Наташа. — Он уселся на скатку шинели. — Когда мы лежали у орудия, думал я, что если выйдем живыми — обязательно скажу тебе: уходи с батареи.

Опять!.. И это после того, как вместе были на волосок от смерти!.. Неужели она еще не доказала?..

Наташа встала и хотела уйти. Он удержал ее.

— Не по-хозяйски как-то получается. В пехоте переводчиков нехватает, а ты здесь. Сердишься, что тебя не

всегда в опасное дело берут. А почему? Нет нужды. Можно другого послать. А человек должен быть так нужен, чтоб и заменить его было нелегко. Так или нет?



13 марта взяли Вязьму. По фронту был отдан приказ занять оборону. Топорок ходил раздосадованный: тридцати километров не дошли до родной деревни. Нужно было снова запастись долгим терпением.

Начали строить землянки. И вот только теперь стала сказываться усталость, накопленная за последние два месяца. В наступлении все были здоровы. А теперь один за другим потянулись в санитарную часть.

Двое наводчиков заболели «куриной слепотой». Наташа водила их за руки и выговаривала:

— Вот не пили мой хвойный настой...

А у самой тяжелели ноги и каждый шаг давался с трудом.

Весенний воздух и весеннее солнце клонили ко сну. Наташа посмотрела в зеркало и была неприятно поражена: на исхудавшем, обветренном лице у глаз появились первые маленькие морщинки.

Начались трудности со снабжением.

Вязьма ломилась от запасов. Но по дороге, на протяжении девяноста пяти километров, один за другим стояли грузовики, завязшие в глине «по горло». Водители, грязные и злые, как черти, не вылезали из-под своих машин. Но все было бесполезно. Сухари, махорку и сало для всей дивизии бойцы тащили на плечах.

Есть хотелось непрерывно. Мысли двигались еле-еле.

Но когда с утра было известно, что к вечеру наверняка выдадут по сто граммов сухарей и по двадцать граммов сала, становилось уже не так беспросветно.

Но самое досадное было то, что «война кончилась»,

как говорили в дивизии, становясь в оборону, а каждый день приносил новые жертвы.

Несмотря на тщательную работу дивизионных саперов, бойцы ежедневно подрывались на минах.

Однажды утром Наташа пошла с бойцами ермошевского расчета в лес за хворостом для костра.

Она ступила на доску, переброшенную через болотце, и над лесом загредел взрыв. Небо опрокинулось на болото, и березы с размаху ударились верхушками о лужи. Наташа хотела приподняться и не смогла.

Ее эвакуировали в тыл.



Через два месяца Наташу отпустили из госпиталя на сутки в Москву. Москва была еще опустевшей. Никого из товарищей в городе не было. Сквозь дырочки почтового ящика, прибитого к входной двери, Наташа увидела желтоватый конверт. Ключа от ящика она не нашла. Пришлось стучать в соседнюю по площадке квартиру — никто не откликнулся, бежать вниз, разыскивать слесаря или хотя бы нож и молоток, или просто отвертку. Наконец ящик взломали. Наташа вошла в комнату и долго держала конверт в руках.

Обратного адреса не было. Рядом со штампом девятого почтового отделения стоял какой-то неясный штамп. Осторожно, боясь задеть письмо, она разорвала конверт, вынула из него мелко исписанные небольшие листки и снова подержала их в руках за спиной. Подошла к запыленному будильнику, завела его, подождала еще полторы минуты и только после этого стала читать.

Сергей писал, что... Впрочем, она еще не совсем понимала, о чем он писал. И он почти ни о чем не писал. Важно было то, что он действительно жив и что письмо помечено датой прошлого месяца.

Он начинал с того, что, может быть, это письмо проскочит, но до сих пор так не получалось, и что в дальнейшем писем снова может долго не быть. Но она должна знать, что он жив и здоров и что так будет всегда.

«Ночь такая тоскливая. Ты слышишь меня, Нат?» было приписано где-то сбоку и помечено прошлым годом. Должно быть, это листки из его блокнота. По всему тону письма можно было заключить, что он работает в глубоком тылу противника. Вернее сказать, это следовало из всего того, что в письме не было написано. Представить себе, как и где он живет, было невозможно. В листках было множество нежных, самых обыкновенных слов, которые пишут в тысячах подобных писем и которых прежде они стыдились, боясь походить на всех остальных. Сейчас Наташа читала эти слова и была счастлива, что они написаны.

И уже не хотелось ей ни Крайнего Севера, ни ветра, ни «алых парусов». И не хотелось, как прежде, ехать вместе с ним на край света.

Нужно было только одно — быть вместе, всегда, где угодно, хотя бы вот здесь, в стенах этой, уже десять лет тому назад надоевшей комнаты с выгоревшими и порванными кошкой обоями.

Время или война делают людей мудрее и проще? Жаль, что нет обратного адреса. Хотелось, чтоб он знал обо всем, что произошло с ней за это время.

Сергей писал о своем друге — сержанте Иголкине, который перевезет это письмо через «черту». Этот сержант дважды спас ему жизнь и был вообще исключительным парнем. И ей стало обидно, что он так много пишет об этом незнакомом сержанте с такой колючей фамилией и даже в письме к ней он не может отделить себя от войны.

Но на другой странице было написано про этого сержанта что-то такое, что напомнило ей Ермошева. И она

подумала, что, должно быть, Иголкин добродушный круглолицый паренек, не имеющий ничего общего со своей фамилией. И все строчки в этом письме, даже те, которые были не о ней и не к ней, стали ей совершенно близки. И она подумала: «Хорошо, что в нашу жизнь вошли сержанты Ермошев и Иголкин, что мы оба — и Сережа и я — были там, где должны были быть».

Сергей писал о том же: «Нужно, чтоб было не стыдно вернуться к тебе. Только так можно не потерять тебя».

И снова повторялись все те же обыкновенные, никогда не надоедающие слова. («Какими глупыми были они раньше», снова подумала Наташа.) После подписи была еще одна строчка: «Ты обязана жить».

И она впервые подумала, что не бояться смерти — это значит не бояться отдать кому-то сильные ладони Сергея. Это значит — не бояться отдать кому-то влажный закат над ледоходом, когда на плывущий по Москвереке лед спускается солнце, тоже готовое вот-вот слиться с рекой и растаять... Достойно умереть — нет, это не страшно. Но отдать все это? «Ты обязана жить», пишет Сергей.

Но она знала: попробуй убеги от смерти, смени лишения и тревоги на благополучный покой, и все равно все это отдашь и счастья не будет. И снова, заново, в третий раз и, быть может, впервые сознательно она решила идти на фронт.

### *В разведроте комдива*

— Помню, помню вас, — сказал начальник отдела кадров штадива. — Хорошо, что вернулись. Вы санинструктором в полку работали? И не проситесь туда! Не пушу. Нашей разведроте дозарезу нужен переводчик.

Наташа что-то хотела ответить. Майор перебил ее:

— Знаете, в сорок первом году некогда было разбирать, кто кем идет на войну. А сейчас нужна разумная расстановка сил, чтобы от каждого взять все, что он может, собрать все это вместе и... Ясно?

Теперь война уже не казалась Наташе огромным однодневным субботником. Она знала, что война — сложно организованный длительный труд, в котором каждый должен найти свое точное место. По существу, и Гольдин и Ермошев разными словами говорили о том же самом. Наташа сказала майору, что рада новому назначению.

...В разведотдел штаба дивизии она пришла поздно вечером. Из раскрытой двери блиндажа неслись звуки «Рио-Риты».

Наташа остановилась у порога. Молодой офицер с безусым смуглым лицом и тонким шрамом через всю щеку, придававшим лицу выражение возмужалости, сидел на ящике у стола. Одна рука его лежала на телефонной трубке, другой он перебирал патефонные пластинки, лежавшие перед ним. В углу блиндажа на корточках сидел пожилой боец. Голова его то и дело падала на колени; он вздрагивал, выпрямлялся, усиленно моргал глазами и немедленно засыпал снова.

Офицер снял трубку:

— Имей в виду, Аршинов: добыть сегодня «языка» во что бы то ни стало!

Он прикрыл ладонью микрофон и обернулся к бойцу:

— Хорош ординарец! Начальник работает, а он спит... Встать, когда с тобой разговаривают!

Боец вскочил.

— Ладно уж, садись, — сказал офицер. — Во что бы то ни стало, — продолжал он в трубку. — Да. Хозяин? Что? Это дело ваше, а не мое. Светло? Договаривайтесь с луной. Что? Сломались ножницы? Грызите зубами. У меня всё.

Он с сердцем отбросил трубку и снова обернулся к бойцу:

— Зобнев!

Заметив Наташу, стоявшую у открытой двери, офицер встал:

— Вам кого? А, переводчиком ко мне? Рад. Давно мне вас обещали. Как раз к утру вам будет работа. Ждем «языка». Ну, давайте знакомиться. Начальник разведотдела Медников. А вас? Да вы проходите, садитесь. Давно в дивизии?

Медников сел, закинув ногу за ногу, и испытующе поглядел на новую переводчицу.

В блиндаж вбежал офицер, еще более юный, чем начальник разведки, худенький, складный, хрупкий, с монгольским разрезом глаз.

— Перегабрин, — представился офицер.

Медников поставил новую пластинку. Перегабрин сделал шаг и повел плечами. Его маленькая упругая, точно резиновая фигурка легко поплыла вдоль просторного блиндажа.

Перегабрин сбросил куртку и сел на ящик. На груди у него были три золотые нашивки — знак тяжелых ранений — и три ордена.

— Так веселимся, значит! — сказал Перегабрин беспечно. — Где это ты патефон раздобыл?

В разведотдел снова позвонили. Перегабрин наклонился к аппарату, прислушиваясь к голосу в трубке. Беззаботная улыбка сбежала с его лица. Когда Медников кончил разговор с Аршиновым, Перегабрин встал и посмотрел на Медникова в упор:

— Друзья-то мы с тобой друзья, а все же я тебя не пойму. Почему ты здесь? Выходит, твои сегодня работают? А с пушками согласовано? Ножницы проверял? Ночь уж больно неподходящая. Как ты можешь здесь



оставаться? Дело Аршинова? Нет, не Аршинова, а твое. Как знаешь, а я на коня — и в боевое охранение.

Перегабрин выбежал из блиндажа.

— Это адъютант генерала, комсорг штаба дивизии, — сказал Медников. — Он старый разведчик. До сих пор за разведку болеет. Плохо — слишком молод и суетлив. А я уже все это пережил. И все же люблю его. По немецким тылам вместе ходили...

Медников задумался.

Скоро он прилег на лежанку, приказав Зобневу разбудить его, когда приведут пленного.

Наташа просидела до утра, просматривая словари, читая протоколы допросов, волнуясь, как перед экзаменом.

Медников проснулся часов в восемь утра. Он сладко потянулся, окинул взглядом блиндаж и помрачнел:

— Не привели «языка»! Вот черти! Я этому Аршинову покажу!



Утром Наташа пошла в гости к старым друзьям. Когда ее увозили отсюда в санбат, голый лес зяб, вздрагивал, ежился под ударами неласкового мартовского ветра. Теперь стоял май. Березы снова покрывались листвой. Воронки, траншеи, ямы зарастали зеленью.

Подходя к расположению пятой батареи, она испытывала какую-то неловкость. Как ее примут? Поймут ли, почему она не вернулась к ним?

За деревьями показалась знакомая зеленая кухня. Борис Лапта, похудевший более прежнего, бегал вокруг кухни, слегка прихрамывая, размахивая полотенцем и покрикивая на Юсупова. Наташа остановилась.

— Готово, пусть за пробой идут! — крикнул Лапта Юсупову и пошел от кухни, утомленно вытирая вспотев-

ший лоб. — Да не забудь комбату жареной картошки отправить!

Он повернулся в сторону Наташи, всплеснул руками и побежал к ней навстречу. И тут же из-за кухни вышли Ермошев и старшина. Они тормозили ее, забрасывали вопросами.

Наташа не знала, кому отвечать, но знала уже, что снова вернулась в свою семью и что здесь у нее есть совсем свои и совсем родные люди.

— Скучали мы без тебя, — говорил Лапта, приглаживая растрепавшиеся Наташины волосы.

— Ишь ведь какая стала, поправилась в госпитале, — оглядывая Наташу, сказал Ермошев и, видимо желая скрыть свою радость, суховато добавил: — От безделья-то немудрено.

— А гимнастерка уж маловата, — озабоченно сказал старшина и, взяв Наташу за плечи, повел к своему блиндажу.

У землянки старшины собрались все старые батарейцы. Перед Наташей стоял котелок с наваристыми шами, такими, какие во всем свете умел варить только один Лапта, и картошка, жаренная «по-офицерски», — первый фронтовой деликатес. Она уже несколько раз повторила рассказ о ранении, о госпитале и о письме Сергея, но все еще не решалась сказать, что пришла сюда только в гости.

— Так будешь навешать нас. Я уж договорился, чтоб тебя отпускали, — неожиданно сказал старшина.

— Разве вы уже знаете?

— Знаем. Я вчера в штабе дивизии был.

— И не обиделись на меня?

— Чего уж на тебя обижаться! — Старшина развел руками и сказал глуше: — Служба — службой, а дружба — дружбой. Помни, что дом твой — здесь... Ивчук, не

забудь снять размеры, — он повернулся к батарейному портному, — будешь Наташе новую гимнастерку шить. Ну, а мне на НП пора.

Юсупов поставил перед Наташей сковородку с шипящими блинами.

— Верно делаешь, Наташа, — значительно сказал Ермошев.

— Только не зазнавайся да нас не забывай, — вставил Глушиков.

К землянке подошли оба Каряги и молча стали в сторонке. Так они и стояли рядом, как и в первый день.

Наташа вглядывалась в знакомые лица, такие близкие, совсем прежние и все-таки изменившиеся в чем-то. Может быть, просто туже заправлены гимнастерки? Нет, не то. Все батарейцы загорели и поправились в обороне (все, кроме повара). Нет, и это не то. Стали будто стройнее и будто плечи у всех развернулись шире. Или только кажется так? В каждом было что-то необычно строгое.

И наконец она поняла: она впервые видела своих батарейцев с погонами!

— Поздравляю, товарищ старшина, — сказала Наташа Ермошеву.

— Да, повысили. Командиром взвода теперь. Да вот и Каряги наши стали сержантами. — Ермошев посмотрел в сторону кухни, около которой уже снова возился Лапта. — А Борис медаль получил. Только носит ее на изнанке рубашки, чтоб не коптилась.

И батарейцы стали рассказывать Наташе все батарейные, полковые и дивизионные новости: и о том, что мать Глушикова наконец-то подыскала ему в Пензе тридцатилетнюю невесту, рябую, но добрую и «на все согласную», и о том, что капитан Никитин служит теперь в штабarme, и о том, что дрались за Вязьму «мы», а в город

вошли части соседней дивизии и потому «они», а не «мы» стали гвардейцами.

Когда Наташа собралась уходить, Топорок потянул ее за рукав и, отведя в сторону, тихо спросил:

— Ты теперь в штабе. Может, слышала: скоро ли пойдем в наступление? До дома моего — рукой подать.



Под пригорком дымился костер. У огня толпились бойцы с ложками и котелками. Перегабрин остановился и показал на пенек:

— Медникова обождем. Не хочется мне опять без него в роту являться.

Перегабрин достал из планшетки вчерашнюю газету и расстелил на пеньке:

— Садитесь.

Сам он прилег прямо на землю, рядом с пеньком.

— Вот они, разведчики наши!

Пенек был заслонен двумя соснами, и разведчики не замечали ни Перегабрина, ни Наташи. Зато лица разведчиков, склоненные над костром и освещенные снизу, отсюда были ясно видны.

— Разорвался это, значит, рядом снаряд, и бухнулся я в яму, — с напускной веселостью рассказывал нескладный, долговязый паренек, весь в рыжих веснушках. — Лежу и кричу: «Убило меня насмерть!..»

Перегабрин толкнул Наташу локтем:

— Хитер этот Попрышкин! Боятся, что над ним смеяться будут, сам хочет опередить...

— Спасибо, подползает лейтенант Аршинов, шепчет: «Жив ты, Попрышка, честное слово жив!» Взял лейтенант да и ущипнул меня за правое ухо, — рассказывал Попрышкин. — Тут поверил я, что не умер, вскочил да прямо в немецкую траншею.

— Всего неделю, как из Кемеровского училища он, — шепнул Перегабрин Наташе. — Да и все тут они зеленые. Вот только командир...

В стороне от костра стоял коротконогий, крепко сложенный лейтенант и внимательно, немножко насмешливо разглядывал Попрышкина. Над светлыми, словно выцветшими от солнца глазами торчали короткие брови, похожие на спелые колосья. Из-под пилотки выбивалась ржаная густая прядь волос.

— Обрадовался Попрышкин, что жив, и раньше сигнала в траншею прыгнул, — сказал лейтенант.

— А ему с перепугу рассудок отшибло, — вставил один из разведчиков.

— Всюду ты, Ревякин, свой язычок суешь! — огрызнулся Попрышкин.

Ревякин сидел на корточках перед котелком и весьма успешно справлялся с гороховым супом.

— Прыгнул раньше сигнала, из-за этого вся операция сорвалась, — продолжал Аршинов. — Выходит, в разведке к смелости расчет добавляй. И еще одно замечание: зачем вы ко мне теснитесь? Цепью нужно идти.

— Товарищ лейтенант, да вы очень уж прочный какой-то, около вас не так боязно, — признался Попрышкин.

— Говорят про вас, товарищ лейтенант, что вы очень удачливый, — снова вставил Ревякин, — вроде как замороженный, и пули вас будто бы не берут.

— Удачливый? Это пожалуй, — уверенно усмехнулся Аршинов. — Но удача каждого полюбить может. Только не трусь да рассчитывай.

Неловкий Попрышкин все еще возился с концентратом горохового пюре. То пюре подгорало, то Попрышкин наливал слишком много воды и суп бежал через край, заливая костер.

— А ты соли горсти две добавь, — не унимался Ре-

вякин. — Больше супу получится. По твоей комплекции котелок вроде как ложка чайная.

— Если твой штык будет колоть не хуже языка, славный ты будешь воин, Ревякин! — обрезал его Аршинов.

— Товарищ лейтенант, а когда снова в разведку пойдем? — спросил Попрышкин, чувствуя поддержку командира.

— А вот когда гороховый суп-пюре варить научишься. Без этого солдат — не солдат, да будет тебе известно. По дороге застучали копыта.

— Едет, наконец-то! — вздохнул Перегабрин.

Из-за поворота дороги вылетел конь.

Медников прыгнул на ходу:

— Заждались?

Разведчики заметили теперь и начальника и Перегабрина с Наташей. Они вскочили, поспешно оправляя костюмы и подтягивая капюшоны.

Медников, Перегабрин и Наташа подошли к костру.

— Рота, смирно! — крикнул Аршинов. — Товарищ старший лейтенант! Разведрота в составе...

— Хорошо. Садитесь. Вот к вам переводчика привел.

Разведчики повернулись в сторону Наташи. Попрышкин расстелил плащ-палатку и знаком пригласил Наташу к огню.

— Вот и нам наконец привалило счастье, — сказал Попрышкин. — Подумать только — барышню дали в роту!

— Вряд ли это такое уж счастье, — усмехнулась Наташа. — Добро бы действительно барышня, а то — старший сержант. Лишний начальник. Подчиняться придется.

Наташа посмотрела на костер и сказала тоном совершенно уничтожающим, мысленно подражая Ермошеву:

— А вот с концентратом обращаться еще не научился. Сразу видно, что вояка без году неделя.

Размечтавшийся было Попрышкин отвернулся.

— Впрочем, при таких разведчиках переводчику делать нечего, — продолжал Медников. — Опять «языка» не привели? Теперь из-за вас генералу хоть на глаза не показывайся.

Разведчики слушали присмирив. Попрышкин, очевидно чувствуя себя самым виноватым, пытался спрятаться за спину Ревякина. А Ревякин будто нечаянно подталкивал его вперед. Поговорив о проваленной операции ровно столько, сколько ему казалось достаточным для разговора начальника с подчиненными, и не назвав ни одной фамилии, Медников обратился к Аршинову:

— Идем, поставлю новую задачу.

Перегабрин и Наташа остались с разведчиками.

— А ты, Попрышкин, за Ревякина не прячься, — сказал комсорг. — Он в два раза тебя короче. Не назвал тебя начальник просто потому, что пожалел. А ему уже все известно в точности. — Как видно, Перегабрину хотелось сказать разведчикам все, что должен был сказать и не сказал его друг. — Перечислю ваши ошибки. В первых...

...С первых дней войны разведка стала родной стихией для Перегабрина. Он пришел на фронт совсем еще мальчиком, добровольцем, и сразу оказался в немецком тылу. Одевался в деревенское, брал лукошко, полное ягод, и шел в немецкий гарнизон, выкрикивая высоким голосом сходную цену и высматривая острыми черными монгольскими глазами укрепления и посты.

...Они лежали вдвоем с Медниковым на берегу реки. Медников остался у реки последним. Дернув шнур, он отбежал. Лицо его было залито кровью. Переправа взле-

тела на воздух. С этой ночи на щеке Медникова остался шрам. С этой же ночи началась их дружба...

Объяснив разведчикам их вчерашние промахи, Перегабрин стал рассказывать новичкам о жизни разведчиков по ту сторону фронта:

— Командиром отряда был у нас Николай Федорович Грызлин, родной сын нашего генерала. Ранило его в живот. Девять суток несли мы с Медниковым его на себе. А были мы уже оба ранены. Несли, а у самих ноги подкашивались. Так и добрались до линии фронта. Выжил командир. Отец его, генерал наш, всех нас троих целует и говорит: «Люди на войне теряют сыновей, а я приобрел. Был один, а теперь трое». И стали считать мы себя втроем братьями, а нашего генерала своим отцом. Вот такая дружба бывает у разведчиков, Ревякин... А ты только колоться любишь.

Вернулись Медников и Аршинов.

— Так имей в виду, Аршинов, это последнее предупреждение. Ванюша, едем.

— Я останусь, — сказал Перегабрин.

Разведчики стали собираться. Завязывали вещевые мешки, перематывали обмотки. Попрышкин старательно скреб ножом котелок. Нашелся и для Наташи лишний маскхалат с чуть надорванным капюшоном.

— И вы с нами пойдете, товарищ переводчик? — робко спросил Попрышкин.

— Ох, и болтун! Ну чего зря спрашиваешь? — снова вязался Ревякин. — Не ты ж за переводчика будешь!



...К переднему краю подходили цепочкой. Перегабрин нес телефонный аппарат, который Наташа получила в разведотделе. Этот аппарат предназначался для подслушивания телефонных переговоров противника.



Вот он, последний окоп боевого охранения. Для пехоты это самый передний край. Сюда приходят дежурить по очереди. Для разведчика это тыл, дом, место, где можно почувствовать себя в безопасности. Путь разведчика дальше. Но всякий раз, когда переступаешь последний край своей заново отвоеванной земли — как бы ты ни привык, — что-то отрывается от сердца. Не догадывается Наташа, что и у Перегабрина похолодела на миг душа.

Буйно растет высокая, нетоптанная трава. Ветер шумит, пробегая сквозь чаши березок. И это ничье? Ничейный пустырь! Нет, на самом деле здесь не пусто. Здесь идет война. Неверные тени скользят по ничейному полю. Узкие запутанные тропы ведут через бурьян.

У заброшенного немецкого блиндажа Аршинов остановил группу:

— Здесь будет НП. Задача — выявить блиндажи и огневые точки между...

Перегабрин и Наташа поползли в сторону немецких траншей. За трехкольной проволокой в полный рост ходили немецкие часовые. Перегабрин и Наташа двигались вдоль проволоки, временами подключая аппарат к немецкому проводу. Трубка аппарата молчала. Холодная роса пропитала одежду. Это просто озноб или колотится сердце? Наташе казалось, что стук сердца выдаст ее. Немецкий часовой закурил, оглядываясь по сторонам. Наташа вздрогнула. Наушники в Наташином аппарате заговорили Грубый, лающий голос:

— Herr Zugführer, Herr Zugführer! Es spricht Feldwebel Hünter. Gestatten Sie...<sup>1</sup>

Фельдфебель Гюнтер получил от командира взвода

---

<sup>1</sup> Господин командир взвода! Это говорит фельдфебель Гюнтер. Разрешите...

разрешение на смену постов. Наташа перевела разговор Перегабрину.

— Уходить, — беззвучно шевельнулись губы Перегабрина. — Запомните место.

Они отползли дальше и замерли.

У блиндажей противника началось оживление. Часовые подтягивались, бросали окурки. Из траншей шли цепочкой солдаты.

До окопа своего боевого охранения Наташа и Перегабрин молчали.

— Конечно, там взводный КП, — сказал наконец Перегабрин.



После двухнедельных наблюдений в районе немецкого взводного КП наступил день, назначенный для разведки боем. После обеда в роте играл дивизионный оркестр. На музыку сбежались соседи — девушки роты связи. На пеньке у края поляны сидел сам генерал. По кругу зеленым вихрем неся долговязый Попрышкин в маскировочном костюме, обшитом листьями, клевером и травой. А потом развернулся, вздохнул и залился песней баян. Разведчики подхватили. Под самое небо уходила мелодия «Сулико». Так поют лишь перед боем. И лишь перед боем так отвечает песне сердце.

Песня сливалась в одно и лес, и поляну, и сидевших вокруг генерала разведчиков, и Наташу. Хорошо, что на этот раз она не только может, но и должна идти вместе с ними в ночной бой! Теперь она уже не искала исключительных подвигов. Большое, реальное дело, которому она была необходима, нашло ее.

— Помните, ребята, что громы и молнии в моих руках, — сказал комдив, провожая новичков. — В обиду не дам.

Разведчики залезли в машины и помчались к переднему краю.

Закат догорал, сползая за хмурый лес. Блекла расплавленная река. Стыли горячие краски. Наташе хотелось задержать уходящий вечер.

В трех километрах от переднего края разведчики слезли с машин и в ожидании темноты прилегли на землю. Костюмы, обшитые листьями, терялись в траве. Среди зеленого моря белели островками лица, жадно смотревшие в вечернее небо: кто знает, не в последний ли раз?

По спинам холодком пробежала дрожь.

«Маме не успела ответить», подумала Наташа.

Аршинов чутьем угадал, что дрогнули, сжались сердца ребят. Тонем завязаного балагура-конференсье он объявил:

— Итак, через полчаса начинается представление! Известный чемпион Попрышкин...

Через полчаса «представление» началось...

Разведчики бесшумно вылезали из окопа боевого охранения на нейтральное поле.

И как назло из-под облаков, внезапно поднявшихся кверху, вывалился не нужный никому месяц.

Залегли. До немецкой проволоки оставалось шестьдесят метров. За проволокой темнел бруствер неприятельской траншеи.

На нейтральное поле обрушился артиллерийский шквал.

— Без фрица мы не уйдем отсюда, — передал Аршинов по радио генералу.

— В добрый путь, в атаку! — ответил генерал из траншеи боевого охранения.

На месяц набежала тень.

— Вперед! — справа налево передалось по цепи.

Цепь дрогнула и поползла извиваясь.

— Встаты! — передалось справа налево.

— Встаты!

И сразу вражеская траншея превратилась в пропасть, в бездну, в последний край, которым кончалась жизнь и земля. Наташа оторвалась от травы. В спину ударил ветер. Она побежала. Перед проволокой Попрышкин выбросил из руки свернутую гармошкой плащ-палатку, натянутую на короткие колышки, и встал на одно колено. Плащ-палатка перекинулась мостом через трехкольное заграждение.

И все, что совершалось дальше, походило на быструю смену кадров, когда киномеханик из озорства пускает ленту на предельную скорость.

Гранаты. Пустые траншеи. Малиновая ракета: «Дайте отсечный огонь!» Разрывы. Чье-то распоротое бедро. Бинт. Рядом с ячейкой для пулемета — немец. Попрышкин прижимает его к стене. Автоматная очередь... Голубая ракета: «Отход». Аршинов бежит последним. Дымовая завеса. И опять проволока!

И только здесь мысли снова обрели способность следовать одна за другой. Дым вплетался кольцами в пред-рассветный туман. Нужно было как можно скорее возвращаться в свое расположение. Наташу и разведчиков, которые держали пленного, Аршинов пропустил вперед.

— Смотрите, если «языка» не убережете! — крикнул Аршинов.

Целина ничейного пустыря ежесекундно взрывалась и взлетала вверх. Пленный уже не вырывался. Его не нужно было тащить. Он бежал сам. Он стремился лишь к одному: миновать нейтральное поле.

Немецкие батареи неистовствовали. До нашей траншеи оставалось полкилометра. Бегущих догнала мина. Пленный прижался к земле. Разведчики прикрыли его своими телами.

У Попрышкина между пальцев стекала липкая жижа. Отодвинув Попрышкина, Наташа опустилась на землю рядом с пленным.

— Номер вашей дивизии? Говорите правду, если хотите жить, — сказала она пленному.

— Жить, — повторил пленный, прижимаясь к гудевшей земле.

— Говорите правду, — снова сказала Наташа.

— Двести пятьдесят два, — прошептал пленный.

За спиной снова завывало. Расталкивая разведчиков, немец вскочил и тут же свалился.

— Не уберegli! — с досадой закричал Попрышкин.

Наташа нашла ускользящий пульс.

— Жив!

Пленного взвалили на плечи.

И вот наконец наши траншеи!

Разведчики привалились к стенке окопа, ненасытно затягиваясь «козьими ножками» и оглядываясь вокруг.

Туман, как море, заливал верхушки деревьев. С востока туман рассекали солнечные лучи. Загорались медные сосны.

После такой разведки все это видишь так, будто сейчас родился.



Наташа вбежала в блиндаж, где сидел генерал, и резко остановилась. Она стояла, застыв, но со стороны казалось, что она еще куда-то бежит. Волосы выбились из-под съехавшего капюшона и рассыпались по зеленым листьям, нашитым на маскхалате.

— И вы ходили с разведчиками? — недовольно сказал генерал. — Шуму много, а толку мало. Дохлого фрица приволокли.

Только теперь Наташа заметила, что находится в

блиндаже разведзвода пятой батарей. Из-за спины генерала выглядывали лица Топорка и Гайдая. Стоит ли вспоминать старое! Но она не могла не вспомнить сейчас, как однажды санинструктору Крайновой запретили идти в разведку.

— Товарищ генерал, разрешите сказать: против нас двести пятьдесят вторая дивизия! — выпалила Наташа.

И сразу напряжение исчезло с ее лица. Говоря по правде, ей было приятно, что первая работа разведчицы Крайновой состоялась на участке пятой батарей.

— Двести пятьдесят вторая? — оживился комдив. — Было известно, что двести шестидесятая. Да откуда ты знаешь? «Язык»-то без языка.

— Я допросила его до ранения.

— Интересно. Значит, произвели смену частей? Вижу, не зря ты туда ходила...

И генерал приказал, чтобы его немедленно соединили с штабармом.



В санбате пленного оперировали. На другой день начался допрос.

Петольд Литаст оказался членом организации «Гитлерюгенд». Он пытался представить себя идейным нацистом и доказывал, что им движет жажда славы, а не жажда наживы. Однако это не мешало ему давать показания охотно и многословно. У него была неплохая память. Он был хорошо осведомлен и ориентирован.

— Это не все, что я могу вам сообщить, — сказал Литаст к вечеру первого дня.

— Передайте ему, что допрос будет продолжаться завтра, — сказал офицер, ведущий допрос.

— Это не все, что я могу вам сообщить, — повторил Литаст вечером следующего дня.

На третий день допрос продолжался. Литаст намеренно растягивал ответы. К вечеру все вопросы, интересовавшие командование, были исчерпаны.

— Я так охотно сотрудничаю с вами...

Он закрыл рукою лицо:

— Я уверен, что живу, только пока даю показания.

— Совсем как тысяча и одна ночь, — сказала Наташа. — Но допрос не может продолжаться бесконечно.

— Значит, утром меня убьют?

В его голосе было отчаяние. И гордость и «убеждения» — все отступило сейчас перед простым страхом конца.

— Мы не убиваем пленных, — сказала Наташа.

Литаст протянул руку и схватил ее за госпитальный халат, брошенный поверх гимнастерки.

— Неужели вы говорите правду?

У входа в палатку она столкнулась с капитаном Гольдиным, который еще вчера приехал на место допроса. Из кармана у него торчал уголок небольшой книжки. «Англо-русский словарь», прочитала Наташа на корешке, и это сразу перенесло ее в далекую студенческую пору.

— Если бы вы знали, как я мало успела! — сказала она. — Я даже вторую часть «Фауста» не кончила. Как раз двадцать второго...

— А я не начал своей диссертации о Шевченко, — отозвался Гольдин.

Наташа сбросила с себя халат:

— Вы свободны? Проводите меня до штаба.

Гольдин снял очки и засунул их в полевую сумку. Огромные близорукие глаза без очков непривычно щурились.

Стоял тихий, спокойный вечер. Слышалась отдаленная перестрелка. Они шли по узкой лесной тропинке.

— А знаете, я ведь убежден, что Шевченко виделся с Чернышевским. Перед самой войной мне посчастливилось найти такие документы, что...

Он снова вытащил из сумки очки:

— А ведь это очень важно. Совсем по-другому все понимается. Вот когда он жил в Петербурге...

Нагибаясь за растущим у тропинки цветком иван-да-марьи, Наташа снизу, искоса взглянула на своего собеседника. Гольдин говорил, все больше увлекаясь.

Неожиданно он перебил себя:

— Но ведь вот что обидно. Если и убьют такого Петольда, вместе с ним в землю уйдут бредовые арийские «идеи», а им все равно не жить. Ну, а если Петольд убьет меня?

Гольдин даже остановился на секунду — так поразила его эта мысль. Он тревожно смотрел Наташе в лицо. Она молчала.

— А ведь может и так случиться, — тихо сказал Гольдин, не дождавшись ее ответа. — И вот тогда я этого не напишу. И еще хотелось... — Он снова перебил себя: — Да что говорить! Не я один! Столько нужно было сделать каждому из нас! А ведь он, Петольд, рос только для войны...

В голосе Гольдина звучала горечь.

— Но знаете что, — сказала Наташа: — если бы вы остались тогда, двадцать второго июня, в библиотеке, все равно ничего вы не поняли бы ни в Шевченко, ни в Чернышевском.

Может, это было сказано слишком сильно и не совсем справедливо, но — странно — Гольдин был с ней на этот раз совершенно согласен.

— Это верно, ведь и они не отсиживались, а воевали. Только имея чистую совесть, можно понять этих людей.

Она снова взглянула на него. Обычная его сутулость



была совсем незаметна. Таким она видела его только однажды: во время боев за Грачи.

— Зато когда вы вернетесь с войны...

— Скорей бы! А вы любите моего Тараса? Да? Обязательно приходите на защиту диссертации.

Он приглашал ее совершенно серьезно. Ей показалось, что защита должна состояться на этой неделе.

— Приду обязательно.

Из-под земли выросли холмики штабных блиндажей.



Раз в неделю разведчики возвращались с нейтрального поля на отдых в расположение наших боевых порядков. О чем только не говорилось у небольшого, чуть тлеющего костра, которому не давали разгораться в полную силу...

Перегабрин приходил в роту читать вслух «подвалы» «Красной звезды». Ревякин рассказывал о том, как трижды бежал из дому в осажденный Мадрид. Попрышкин под градом насмешек остряязыкого Ревякина постигал тайны солдатской кулинарии и вспоминал своего деда — сибирского лесника, убившего на своем веку девятнадцать медведей.

— Лесник-то лесник, только вспомни хорошенько: может, не твой он дед, а дед твоего соседа, — как всегда, не унимался Ревякин. — Не может у охотника такого внука быть. Ты и блохи не убьешь!

— А кто фрица поймал? — возмущался Попрышкин.

— Подумаешь! Попробовал бы ты еще фрицев не ловить! — отвечал Ревякин.

И разведчики снова и снова приставали к Наташе с просьбой рассказать какую-нибудь историю, да такую, «чтоб дух захватило».

И снова у самого костра лежала за пулеметом чапаевская Анка. И снова прямо перед костром мчался по степи на тачанке Павел Корчагин.

— Ох, и здорово ж это они! — вздыхал внук сибирского лесника.

Посреди рассказа начинал прорезать небо пронзительный шестиствольный немецкий миномет (разведчики называли его почему-то «скрипуном»). Языки огромного пламени слизывали с неба редкие ранние звезды. Разведчики разбежались по ямам.

«Скрипун» прекращал концерт. Разведчики опять собирались вокруг костра.



— Поздравляю вас с присвоением офицерского звания. — Начальник отдела кадров протянул Наташе большую ладонь. — А это вам лично от меня подарок. — Он вытащил из планшетки пару новеньких фронтовых погон — зеленое поле с маленькой звездочкой посредине.

Наташа вернулась в блиндаж разведотдела и, сев в свой уголок, стала пришивать погоны к новой гимнастерке, сшитой батарейным портным.

Медников сидел за столом и медленно отхлебывал из кружки горячий чай:

— Зобнев, отчего чай сладкий — от сахара или от ложечки?

— От сахара, товарищ старший лейтенант.

Медников щедро сыпал сахар в кружку ординарца:

— Пей. Сладко?

— Нет, товарищ старший лейтенант.

Медников наливал чай заново и, старательно размешивая ложечкой, отодвигал сахар на другой конец стола:

— Пей. Сладко? Что, опять нет? Ну вот, а ты говоришь!

Он снова придвигал Зобневу сахар.

Поймав на себе осуждающий Наташин взгляд, Медников встал и подошел к ней:

— Что это вы делаете? Погоны достали новые? Ба! Да у вас офицерские уже. Что ж молчите? Поздравляю. Честное слово, рад, как за себя. Растет наш отдел не по дням, а по часам!

Медников повернулся на каблуках:

— Это же замечательно! Только вот что, Наташа: теперь многое придется вам изменить. Всегда нужно помнить об этих вот звездочках. Агитируете? Беседуете? Теперь как офицер вы можете просто приказывать. И всё. Пусть выполняют.

— Но ведь тем-то и отличается советский солдат, что...

— Я вам сказал свое мнение. Честное слово, спорить об этом не стоит.

Он ушел...

Через три дня Наташа спустилась в блиндаж и увидела, что все стены оклеены газетами из подшивки «Красной звезды». Блиндаж выглядел чистенько и весело, но Наташа пришла в отчаяние: «Красная звезда» была основным пособием для агитационной работы в роте.

— Товарищ старший лейтенант, что же вы сделали?

— Товарищ младший лейтенант, я, собственно говоря, ничего не делал, — ответил Медников. — Я только приказал, чтобы в блиндаже было уютно и чисто. Вы против этого разве? А Зобнев как находчивый ординарец мигом разыскал сподручный материал. Подшивка вам ни к чему.

Медников сменил тон и сказал более дружелюбно:

— Разговоры, беседы — все это уже отошло. Как вы не поняли этого, Наташа? Газеты читаете, а устарели, как прошлогодний снег.

— А вы напоминаете мне листья, которые загордились перед корнями, — сказала Наташа.

— Зобнев, подать шпоры! — крикнул Медников. — Простите, я спешу.

Он быстро оделся, подтянул портупею и вышел из блиндажа.

...Наутро Наташа ходила в дивизионную библиотеку. С этого дня каждую ночь она сидела над томиком Ленина.

— Товарищ старший лейтенант, — сказала она однажды, протягивая Медникову книгу. — Вот, посмотрите — ленинская теория развития по спирали. Прочтите, вы поймете: введение погон — не просто повторение старого, а воспроизведение лучших черт прошлого на совершенно новой основе.

Медников отвел от себя протянутую книгу:

— Вы не в институте, а на войне.

— И что же?

— На войне не занимаются теорией. Кончим войну — будем учиться.

— На войне тоже учатся.

— У меня на это времени нет.

Через несколько минут его вызвали на передний край.



На нейтральном поле против Мархоткина разведчики обнаружили небольшую яму, заваленную буреломом. Недалеко от этого места проходил, как было установлено, немецкий кабель.

— Эх, если бы использовать яму для дневного подслушивания! — сказал однажды Аршинов.

— Хорошо, я останусь на сутки, — согласилась Наташа.

— Одна?

— Двоим не поместиться.

Ночью разведчики подползли к яме. Наташа спустилась на дно и свернулась калачиком. Ее закрыли ветками.

Как только разведчики стали удаляться, ей захотелось выскочить из ямы и побежать за ними. И зачем она согласилась остаться здесь?

Чувство беспредельного одиночества охваило ее.

«Хоть бы кто-нибудь был рядом!»

Как пусто вокруг!.. Лишь бы не думать о нейтральном пустыре, окружающем яму. Она стала вспоминать какие-то строчки, обрывки, стихи, которые ей показывал когда-то Сергей.

От слов, произносимых шопотом, пустота отступала. Замелькали обрывки каких-то разговоров, знакомые лица, широкая каменная лестница перед входом в читальный зал. Вокруг ямы выросли знакомые стены Ленинской библиотеки. А за ними Кремль, асфальтовый простор Манежной площади, Каменный мост.

Пустота исчезла бесследно. Наташа уже знала, что она останется здесь.

Стихла перестрелка. Потухли ракеты. Словно огромная черная птица присела на поле и прикрыла его широким крылом.

...Через сутки на столе комдива лежало новое разведдонесение.



Разведчики отдыхали вокруг костра. Наташа возилась с чьей-то гимнастеркой. Застучали копыта. На дороге показался конь Медникова. Медников спрыгнул и быстро подошел к Наташе.

— Только что узнал: сегодня партийное собрание

штаба. За мной едет Зобнев. Сядьте на его коня, а то опоздаем.

Через несколько минут они ехали к штабу.

— А знаете, почему я поехал за вами? Доклад делает сам комдив. И тема — «Облик советского офицера». Сегодня вы многое поймете, Наташа...

Медников подхлестнул обоих коней...

Когда они вошли в офицерский клуб, комдив уже говорил. Клуб был набит битком. Голос комдива едва достигал задних рядов.

— Ничего здесь не слышно, — сказал Медников и, взяв Наташу за руку, расталкивая бойцов, стал пробираться к передним рядам.

— Все знают, что старший лейтенант Медников спас жизнь моему единственному сыну, — неожиданно сказал комдив, и это было первой фразой, которую разобрали Медников и Наташа.

— Зачем старик вспоминает? — смущенно сказал Медников.

— Я считаю его тоже своим сыном, — продолжал комдив. — Мне тяжело говорить о нем на общем собрании. Но что поделать: это партийный долг.

Комдив закашлялся и попросил воды.

Медников отпустил Наташину руку и сделал шаг назад.

— Медников, как человек способный и смелый, быстро вырос за годы войны, — снова говорил комдив. — Рост служебной карьеры обогнал его культурный рост. Медников зазнался и совсем перестал работать над собой.

Наташа слышала, как пальцы Медникова царапают целлулоид планшетки.

— Отсюда плоское понимание настоящего момента и потеря революционной перспективы. Понимание офицерского достоинства у него чисто внешнее. Воспитывать

своих солдат он не желает. Думает на одном приказе проехать.

Казалось, будто комдив слышал споры в разведотделе. Пальцы Медникова отстегнули пуговичку планшетки. На миг Наташе показалось, что она не слышит его дыхания.

— Все это мало походит на подлинное достоинство советского офицера, офицера-большевика, — говорил комдив, — потому что мы воюем не просто за Россию, а за Россию Советскую.

Комдив уже говорил о другом. Наташа стояла, опустив голову и не решаясь взглянуть на своего соседа.



По дороге медленно шла девушка с вещевым мешком за спиной. Девушка приблизилась. Наташа узнала ее: это была Алла Широкова. Алла остановилась. Лицо ее осунулось. Глаза были заплаканы.

— Вот когда довелось встретиться, — сказала она, сиюсья улыбнуться.

— Где же ты была все это время?

— Лучше спроси, где только не была. И в стройбате побывала, и в запасном, и в артроте.

— А теперь?

— А теперь?.. Вот... — Алла снова хотела улыбнуться, но не смогла. — Мой последний поход.

— Опять переводят в другую часть? — спросила Наташа.

— Какой там переводят! Совсем из армии отправляют.

Алла посмотрела на свои запыленные джимми.

— Так, значит, домой? — спросила Наташа, желая сказать что-нибудь успокаивающее.

- Домой, — скучно повторила Алла.
- Ну вот и хорошо, дома-то рады будут.
- Ничего хорошего, — возразила Алла. — И дома-то рады не будут. Не так возвращаюсь.

Алла вытерла глаза и нехотя пошла по дороге.



Немецкое наступление под Орлом превратилось в бегство. Дивизии, разбитые под Орлом, спешно отправлялись в Германию на капитальный ремонт. А на Смоленщине готовился новый удар.

7 августа дивизия Грызлина прибыла в район сосредоточения войск, на исходные позиции. Танковый батальон, который обычно поддерживал Грызлина, и все остальные приданные дивизии части были уже на месте.

Выжидательная тишина ясного августовского утра по сигналу комдива разорвалась грохотом артиллерийских залпов. Огненный вал обрушился на немецкие траншеи и двинулся дальше, в глубь обороны.

— В добрый час! — сказал генерал в микрофон.

Пошли танки. Генерал стоял в маленьком окопчике. В стереотрубе перед ним развертывался первый этап боя.

За танками поднялась пехота. Справа бой шел у самой траншеи. Слева пять танков были остановлены огнем неприятеля. Роты поровнялись с танками и залегли. Генерал возмущенно обернулся к начальнику штаба танкового батальона:

— Вы видите? Что? Радио выведено из строя? Немедленно передать живой связью, чтобы танки двигались вперед любой ценой.

К командирам подошла Женя Колосова.

— Товарищ начальник, разрешите мне передать ва-



ше приказание, — обратилась она к начальнику штаба.

Через несколько минут Женя ползла по траве нейтрального поля. Над кольцами рыжеватых волос просвистела пуля. Пригнувшись к земле, Женя сорвала пучок зелени и прикрыла голову. То справа, то слева взрывались снаряды. Ее осыпало землей. Достигнув крайнего танка, девушка приподнялась и постучала. Люк открылся.

— Почему ты здесь? — удивленно проговорил командир машины. — Залезай в танк.

— А почему вы здесь? Генерал приказал немедленно двигаться вперед.

Она поползла к следующему танку.

...На правом фланге бой шел во второй траншее. Генерал направил трубу влево. Пять отстававших танков уже подходили к первой траншее. Левый фланг выравнивался.

— Сейчас же надеть орден на грудь этой девочке! — сказал генерал Перегабрину. — Найти ее и привести сюда...

...Бой ушел за траншеи. Нейтральное поле, уже ставшее тылом, дымилось. Перегабрин пробирался через горевший бурьян. На западном склоне откоса вперед головой лежала Женя. Блестящие рыжеватые волосы рассыпались кольцами. Перегабрин повернул голову и вздрогнул: лица не было, была сплошная маска ожога, с глубокими ямами глаз и рта.

«Может быть, это не она?» подумал Перегабрин и вынул из кармана ее гимнастерки комсомольский билет. Она самая. Хорошенькая, немножко кокетливая девочка весело улыбалась ему с карточки.

Из билета выскользнула еще одна фотография. «Моей маленькой невесте. Андрей», было написано на обороте. Перегабрин узнал лицо воентехника Веткина, по-

гибшего под Вязьмой. Он озадаченно перечитал надпись.  
«Вот оно что, а никто и не знал!»  
Перегабрин бережно собрал ее документы.



Наблюдательный пункт комдива перемещался по несколько раз в день. Генерал всегда находился в непосредственной близости к полкам и видел поле боя собственными глазами.

Днем Наташа находилась обычно на КП комдива: допрашивала пленных и занималась радиоперехватом. По ночам выползала к рубежам противника и, мокрая от росы, возвращалась на заре к генералу.

В наскоро вырытом окопчике былолюдно. Не замечая тесноты, генерал двигался по окопу свободно, размахисто, часто забывая пригнуться. Его широкие плечи то и дело выступали над бруствером.

Генерал шумно прощался с капитаном, уезжавшим на учебу в Москву:

— Скажешь жене моей: ходит грязный, как ланцетуп, весь в смоленской пыли, жжет и громит немцев. Скажешь — знает Федор от смерти заговор. Пусть не волнуется... Будешь наш санбат проезжать — там у меня дочка. На-днях ее в старшины произвели. Надо бы письмо написать, да некогда. Хоть поцелуй ее за меня. Поручаю, да, да. Просто приказываю. Ленка моя — красавица. Не пожалеешь. Ну, и отправляйся. А то раздумаю и оставлю... Вспоминай иногда в академии, чему я тебя учил.

Генерал обнял капитана, трижды поцеловал и отвернулся к переговорной трубке:

— Алло, Устиныч! Сейчас друга твоего на учебу отправил. Да, да. А с тобой академию буду здесь прохо-

дить. Люди Волочаева накормлены? Нет еще? Немедленно наладить. А сам я — имей это в виду — до Юдина ужинать не буду. А там к себе приглашаю. На чай с вишневым вареньем. Что? Опять контратакует? Дорогой, так это же ерунда. Контратаки противника нужно любить и уважать. Это же замечательная возможность бить немцев и растить свою славу.

Устинов, голубоглазый великан, любимец и ученик генерала, находился в тяжелом положении. Фланги Устинова были не прикрыты. Противник бросал на Устинова все новые и новые силы мотопехоты и танки. Девятую волну за сутки выдерживал полк.

Дивизия Грызлина была впереди армии. Грызлин не боялся обнаженных флангов и не дожидался соседей.

— Пусть они меня догоняют, а я их ждать не могу, — говорил он обычно, когда соседи отставали. — Отстают? Немцев жалеют? Что ж, для меня это не причина останавливаться...

— А ты к правому соседу прижимайся, к Семенихину, — сказал генерал Устинову и взял в руки вторую трубку. — Алло, Семенихин, разговаривай почаще с Устинычем. Поддерживай его. Действуйте дружнее... Устиныч, держись, дорогой! Сейчас дам тебе огоньку. Сделай то, что сделали мы в марте.

Командиры полков уже знали, что на языке генерала это значило — занять оборону.

— Приведи себя в порядок — и двигай.

Мимо НП проехали машины артполка. Генерал перебрасывал орудия на помощь Устинову. Противник заметил движение и открыл огонь по дороге.

— Дайте Устинова! — обратился комдив к телефонисту.

— Товарищ генерал, связь перебита. Дежурные пошли по линии, — ответил связист.

— Радисты, дайте Устинова! — крикнул генерал.

Рация тоже оказалась поврежденной.

— Нужно уточнить передний край на левом фланге Устинова. Немедленно послать вперед штабного офицера! — приказал генерал адъютанту. — Где старший лейтенант Медников? Пусть сходит.

Медникова нигде не было.

— Товарищ генерал, разрешите мне выполнить ваше приказание: уточнить передний край на левом фланге Устинова, — попросил Перегабрин.

Он стоял перед генералом, не спуская с него горячих монгольских глаз, напряженный, натянутый, как струна, в коротком, ловко пригнанном ватнике.

— Ступай. Да смотри, ланцепуп, осторожнее! — прибавил генерал.

Никто в штабе не мог сказать точно, что означает любимое словечко генерала «ланцепуп». Но произносил генерал это слово всегда с оттенком немножко насмешливой и вместе с тем трогательной дружеской ласки. И если он так к кому-нибудь обращался, означало это величайшее его расположение.

Перегабрин вспыхнул, круто повернулся на каблуках и побежал вдоль траншеи...

Появились немецкие бомбардировщики. Наташа по-прежнему сидела в окопе комдива и потому, что бежать было некуда, и потому, что у нее давно уже выработалась привычка никуда не бежать во время бомбежки.

Четвертый залет самолеты делали над самым окопом генерала. Раздался знакомый свист. Бомба разорвалась где-то рядом. На землю навалился грохот. Стенки окопа осыпались. Беспреданно взлетала земля, мешаясь с небом и опадая вниз. Генерал работал, склонившись над картой. Наташа подняла голову. Ей казалось, что самолет целится всем своим фюзеляжем прямо в широкую

спину комдива. Огромный черный крест, выведенный на крыле, падал прямо на генерала. В воздухе что-то запылало. Снова раздался взрыв. Стало темно. Все потеряло свои очертания. Не было видно ни клочка чистого неба.

...Когда генерал и Наташа, серые, покрытые пылью, помогая друг другу, выбрались из заваленного землей окопа, Наташа заметила, что ее полевая сумка пробита.

Налет продолжался. Генерал снова сидел в окопе, теперь уже в стороне от дороги. Он снова и снова брался за трубку:

— Двигайся! Не обращай внимания! Вот он и меня сейчас бьет. Ведь это война! Слушай, Семенихин, помни, что за тобой Грызлин. Замешкаешься — на хвост наступлю...

Перегабрин вбежал в окоп с перевязанной головой. Повязка была пропитана кровью.

— Товарищ генерал! Разрешите доложить: во рву немецкие танки. Немцы с трех сторон.

Казалось, вся кровь с его побелевшего лица сбегала в окровавленную повязку. Перегабрин качнулся и упал. Генерал наклонился к нему:

— Спасибо, сынок! Я отправлю тебя сейчас же в Москву.

К комдиву подошел офицер, дежурный по штабу.

— Не перевести ли наблюдательный пункт назад, товарищ генерал? — спросил дежурный.

— Обязательно перевести, только не назад, а вперед. Перегабрину отправить в санбат, а потом прямо в Москву на моем «виллисе».

Генерал вылез из окопа и пошел на КП Устинова. Вся оперативная группа следовала за ним.

...У дороги лежал раненый. Люди спешили к переднему краю и проходили мимо. По дороге проехала по-

возка со снарядами. Комдив остановился и окликнул возницу:

— Выгрузи-ка на минутку снаряды. Раненого в медпункт свезешь!

— Да что ты! Снаряды-то впереди ждут, а этот назад всегда успеет, — отмахнулся возница. — Вот бы на своей машине и подвез, чем приказывать. А то на плечах дотащил бы. Ишь какой здоровенный!

Генерал был одет поверх мундира в серый комбинезон, и, очевидно, боец принял его за шофера. Вглядевшись в лицо комдива, он растерянно отступил к краю дороги и поднял руку к пилотке:

— Простите, товарищ генерал, не признал вас. Сейчас будет исполнено.

Генерал пошел дальше. Навстречу бежали вдоль проводов связисты, двигались пустые машины и повозки, тянулись, поддерживая друг друга, раненые — одни опирались на товарищей и санитаров, другие ползли по траве.

Обстрел дороги возобновился.

...Через десять минут комдив был на КП Устинова.

— Пришлось-таки тебе на хвост наступить. Или ты без ужина меня задумал оставить? — говорил генерал. — Как знаешь, а я сегодня в Юдине буду. Ну как, «Эрэс», сыграем по рву?

Молодой офицер, командир дивизиона «эрэс», с начала наступления находившийся при генерале, выскочил из окопа и побежал к своей рации.

Через голову полка полетели огромные черные грифели, чертя за собой по небу огненный след.

...Весть о том, что сам генерал со всеми командирами поддерживающих дивизию особых подразделений прибыл в окруженный с трех сторон полк, быстро облетела переднюю линию.

— В лоб Юдина не возьмем, это ясно, — говорил генерал, рассматривая карту. — Попробуем протолкнуть батальоны в обход. Завтра придут подкрепления. Подчищают и ров. Да и соседям, глядишь, совестно станет.

Батальон капитана Волочаева двинулся в обход Юдина.

Грызлин подключился в телефонную сеть батальона, прислушиваясь к приказаниям, которые отдавались по-ропно.

— Довезут ли Перегабрина? — сказал он, снимая наушники. — Эх, ланцепуп!.. Вот и не знаешь, где наша судьба солдатская...



Генерал ужинал в Юдине.

В блиндаж вошел лейтенант Аршинов с пачкой немецких документов.

— Захвачены разведчиком арtpолка Топорком, — доложил Аршинов.

Генерал протянул документы Наташе:

— А ну-ка, «министр иностранных дел», разбирайся... Топорок? — припоминал генерал. — Знакомая что-то фамилия. Был такой разведчик. Как будто ранило его, а он отказался ехать в госпиталь. Из арtpолка, говоришь? Да, этот самый. Хорошо, что парня тогда из дивизии не отпустили. Видно, орел. А выходила его, рассказывали, простая санитарка того же полка. Я ведь всегда говорю... — Он обернулся к Наташе. — А еще называют вашего брата — девчат — «эрзац-солдатами». Это такой «эрзац», который ничем не заменишь.

Говоря откровенно, Наташе было все-таки жаль, что фамилия Топорка дошла до генерала, а фамилия санитарки — нет.

— В бумагах разобралась? — спросил генерал.

«Ладно. До того ли сейчас!» подумала Наташа и принялась за перевод.

Из документов было видно, что перед фронтом дивизии опять стоит новая часть, введенная в бой к вечеру. Кроме того, в бумагах имелся приказ по армии: всеми силами задерживать отступление, выигрывать время на промежуточных рубежах, с тем чтобы не менее трех суток удерживать в своих руках железную дорогу, что ведет на Спас-Деменск.

...Каждый день перед частью Грызлина появлялись новые немецкие дивизии. Полки, впрах разбитые под Орлом и направленные в Германию, в связи с нашим наступлением были задержаны немецким командованием в Кричеве. Здесь их наскоро латали и бросали на Смоленщину.

— Опять новая дивизия! — с досадой сказал генерал. — Это уже тринадцатая по счету за девятые сутки. «Удерживать железную дорогу не менее трех суток», — задумавшись, повторил генерал. — Так, очень хорошо... Это значит, что мы должны оседлать дорогу к утру.

Генерал постоял в раздумье, потом попросил радиста соединить его с Семенихиным.

— Алло, алло! Ворон, Ворон! Я — Орел, я — Орел. Дайте тринадцатого, дайте тринадцатого! Я — Орел, я — Орел. Прием.

— Товарищ хозяин, тринадцатый слушает.

Генерал решительно подошел к радию и отчетливо, раздельно сказал:

— Алло, Семенихин! Алло, Семенихин! Держись! Держись! Через час в моем распоряжении будут пятьдесят самолетов, пятьдесят танков и стрелковый полк. Готовься к атаке! Готовься к атаке! Я — Орел, я — Орел. Прием.



Младший лейтенант — шифровальщик, два дня тому назад присланный с курсов в дивизию и только в этом году кончивший десятилетку, с ужасом посмотрел на генерала. Его служебным долгом было следить за дисциплиной в эфире.

— Товарищ генерал, разрешите обратиться. Переговоры открытым текстом запрещены. Вот переговорные таблицы. Я мигом закодирую вашу радиограмму.

Уши младшего лейтенанта загорелись, щеки залило жарким, багровым румянцем, и последние слова он произнес, слегка заикаясь. Он стоял перед генералом необычайно смущенный, но гордый сознанием исполненного долга. Генерал тоже вытянулся, задев блестящей лысиной потолок блиндажа, руки по швам, и скороговоркой отрапортовал:

— Виноват, больше не буду, товарищ младший лейтенант.

Видя, что младший лейтенант готов провалиться сквозь землю, генерал расхохотался и потрепал его по голове:

— Не буду больше, честное слово не буду!

Все попытки дивизии продвинуться дальше Юдина окончились неудачно. В штабе рассчитывали, что взятием Юдина боевые действия на сегодня заканчиваются и до утра можно будет отдохнуть. Генерал с усмешкой взглянул на вытянувшиеся лица штабных командиров.

— Товарищ генерал, разрешите доложить. Подкрепления будут не раньше, чем завтра днем, — сказал только что вошедший в блиндаж начальник штаба.

— Вот именно. Какие же вы непонятливые! А ведь штаб должен на лету схватывать мысль командира... Подкрепления будут не раньше, чем завтра днем. А к утру мы должны оседлать дорогу. Слышали, о чем говорят документы? Немец пытается всеми силами задер-

жать свое отступление на промежуточных рубежах. Это значит, что мы должны гнать его, не давая ему передышки ни днем, ни ночью.

— Но с чем же мы будем наступать, товарищ генерал? — спросил начальник штаба. — В дивизии только и осталось, что штабы да артиллерия.

— Попробуем погнать немца на этот раз без наступления, — ответил комдив. — Слышали, что я сказал по радио? У немцев отлично поставлен радиоперехват. Они зорко стерегут эфир и слышали меня наверняка. Страху я им нагнал. А сейчас сделаем артподготовку и посмотрим: может быть, они побегут, не дожидаясь танков. А если нет, — генерал бросил лукавый взгляд на своих офицеров, — так вас тут по штабам столько молодцов засиделось, что можно три деревни взять. С такими-то пушками! Сам вас поведу. Аршинов, походи сюда! Разведчиков вперед на оба фланга. Аппарат для подслушивания в порядке? Нужно выяснить намерения этой новой дивизии.



...Тихо на передней линии. Лишь изредка перелетит пуля с одного края на другой да разорвется снаряд, да пересечет небо горящая изгородь немецких ракет. Когда ракета взметалась вверх, Наташа ползла вперед, перебирая коленками и локтями. Когда ракета устремлялась вниз, бросая перед собой резко очерченный круг света, Наташа выпрямляла руки и ноги, вытягивалась стрункой так, чтобы быть вровень с травой, и замирала. Ракета гасла. Взлетала новая. Наташа двигалась. Новая падала. Наташа вращалась в землю. Следом за Наташей полз Ревякин. Ревякин прикладывал к земле аппарат для подслушивания.

У реки, пересекающей нейтральное поле, трубка заговорила. Наташа остановилась... В трубке шелестело, шуршало, завывало, шелкало. Звуки то набегали волной, то кружились вихрем. Наташа боялась что-нибудь упустить. Она не думала ни о чем, кроме того, что к ней приходило по трубке. А приходили по трубке ничего не значащие приказания, поверки, бесконечные зуммеры скучающих немецких телефонистов, шум, свист, шелканье, стук морзянки. Как много нужно иметь терпения! Неужели ей ничего не удастся услышать сегодня?

— Скоро будем сворачивать кабель, — сказал между прочим один немецкий телефонист другому. — Кадушка есть?

Наконец-то! Словно ее обожгло электрическим током:

— Ревякин! Ты понял? Назад, скорее, скорее!  
До самого блиндажа комдива они бежали бегом.  
— Вот что я услышала...

Наташа перевела дыхание и отбросила со лба перепутанные, запыленные волосы.

— Будут сворачивать кабель, — повторил генерал и повернулся к начальнику штаба. — Значит, бежать собираются. Я не ошибся. Не зря хитрить пришлось на старости лет. В атаку итти не придется. Тем лучше! Главное — не прозевать момент отхода, не дать им оторваться... Аршиныч, гляди в оба, — сказал генерал в телефонную трубку.



На ничейном поле волновалась густая рожь. Аршинов подполз к самой немецкой проволоке. Выгоревшая копна волос терялась среди ржи. Из-под нависших бровей пытливо смотрели вперед светлые, словно выцветшие глаза.

Гасла огненная изгородь ракет, достигающих яркими хвостами черной линии горизонта. Смолкли минометы. Все реже и дальше раздавались залпы самоходных орудий. Аршинов насторожился. Усилилась автоматная трескотня. То там, то здесь заговорили пулеметы. «Переносят пулеметы с места на место, — догадался Аршинов. — Шумят. Нет, этим теперь не обманешь».

Аршинов взял телефонную трубку, соединяющую его с оперативной группой комдива:

— Товарищ девять! Противник начинает отход. На переднем крае оставлены кампфгруппы. Маскируют и прикрывают отход автоматнo-пулеметным огнем.

...Землянка комдива наполнилась громким, раскатыстым смехом.

— Я говорил? Начинаем преследование! Перехитрил! Если бы знал ихний генерал, что гоню его на сей раз голыми руками! Одним страхом! Да славой советских танков! Ну, а нам, значит, опять квартиру менять.

Комдив расправил седые усы.

— Вот и полетели в трубу приказы немецкого командования... А где же Наташа?..

Наташа стояла в сотне шагов от командного пункта, за кустарником, зайдя по колена в реку, и торопливо отжимала волосы.

Когда комдив и офицеры оперативной группы вышли из блиндажа и пошли вперед, она поспешно натянула на себя только что выстиранное, еще сырое белье — высохнет на ходу! — и побежала за ними.

...К утру дивизия вышла на железнодорожный рубеж. Радисты устанавливали связь с «верхом». Комдив, закутанный в мокрый плащ, поеживался от утреннего холода и нетерпеливо расхаживал перед радистами:

— Налаживайте скорей! Сейчас возьмем у командира разрешение и пойдем в город. Всего двенадцать

километров осталось. Буду Грызлиным Спас-Деменским.

Он несколько раз повторил этот титул, как бы взвешивая его на слух:

— Что же, как будто неплохо звучит. Как думаешь, Наташа, подойдет это к моей фамилии или нет?

Связь была установлена. Из армии сообщили, что на Спас-Деменск направлена другая дивизия, а дивизия Грызлина выводится на отдых.

— Так же, как с Вязьмой... Вот и не быть нам Спас-Деменскими! — разочарованно сказал генерал. — Так и остались мы, как были, — безвестная, безыменная, трижды заболотная дивизия.

Минуту спустя он добавил:

— Зато непробиваемая, непромокаемая. Так ведь, ребята?

Он отошел в сторону и устало опустился на камень.

По дороге шла новая часть, четко вбивая шаг в размытую недавним дождем глину.

— Ну да ладно, — генерал примирительно махнул рукой, — пускай они... А мы пойдем не на город, так на деревню. Ведь надо ж кому-то и безвестную русскую землю освобождать.

Наташа смотрела на генерала. И весь он, большой, широкоплечий, в простом, насквозь пропыленном комбинезоне, с лицом, обросшим серой щетиной, с красными, воспаленными от бессонницы веками, казался ей в эту минуту похожим на добросовестного работника, взявшего подряд очищать родную землю.



Топорок получил отпуск на три часа. С недобрим предчувствием он подходил к родной деревне, невольно замедляя шаг.

Выгоревшие улицы. Развалины хат. Пусто.

У перекрестка улиц, знакомых с детства, Топорок увидел железный турник, который они поставили когда-то с барыкинским Витькой за флигелем во дворе. Ни флигеля, ни двора не было. Дымилось пепелище. Из-за печной трубы вышла высокая худая старуха с распущенными косами, в изодранной черной юбке. Старуха перепрыгивала с кирпича на кирпич, обжигая потрескавшиеся босые ноги о горячие камни и вскрикивая от боли. Она походила на птицу с перебитыми крыльями. Потом она прислонилась к печной трубе и зарыдала, осеняя себя крестами.

Топорок стоял и не смел приблизиться. Страшно подумать, но это была она. Он оставил ее крепкой сорокалетней женщиной. Многолетняя вдова-солдатка, мать успевала одна управиться и в доме и в поле. Топорок с детства побаивался ее строгого окрика и суровой, огрубевшей руки и с детства ценил ее редкую порывистую ласку. Эта старуха не походила на его мать.

И все-таки по отдельным мелочам он узнавал ее... Вот эту самую черную юбку мать надевала по воскресеньям, нетерпеливо оглядывая себя перед большим тусклым зеркалом, по обе стороны которого спускались расшитые полотенца. Какими клочьями висело теперь сукно!

Топорок поднялся на развалины и осторожно обнял мать:

— Мама!

Она оттолкнула его.

— Мама!

Она отвернулась.

Старуха равнодушно смотрела мимо него бесцветными, заплаканными глазами.

— Проходи, мил-человек, дальше, — хрипло сказала

она, — не мути меня понапрасну. Конец света настал. Сатана весь мир полонил, а сына на чужбине убило.

— Мама, да это же я, Федя!

Она не слушала:

— Одну меня, дуру старую, дьявол оставил. Смерти пожалел, чтобы мучилась вечно. Проходи дальше, мил-человек, не мути меня понапрасну.

Топорок обнял трясущуюся голову матери.

Нет, блуждающие глаза не узнавали его. Она бес-покойно вертела головой, наконец вырвалась и забежала за печную трубу.

С помертвелой душой стоял Топорок среди мертвых развалин родного дома. Вот так бы окаменеть, ничего не знать и остаться здесь. Здесь или в другом месте. Не все ли равно? А кажется, пора возвращаться. От-пуск на три часа. Что ж, можно и возвращаться. Не все ли равно?

Старуха вышла из-за трубы. Будто ржавым ножом прошло по сердцу. Топорок снова подошел к матери и обнял ее.

Она тупо посмотрела на него, снова вырвалась и убежала.

Только теперь Топорок заметил рядом с железным турником наскоро вырытую землянку. Из землянки вы-шла женщина с мальчиком на руках. Топорок вгляделся в нее. Это была их соседка — Витькина мать. Женщина подошла к Топорку и устало сказала:

— Что же делать, сынок? Ничем ты ей не помо-жешь. Я тут посматриваю за ней. Да немного ей теперь нужно.

Топорок хотел спросить про сестер и не решился.

— А Таню с Анюткой угнали, — сказала соседка.

Тяжелым шагом, ничего не видя перед собой, пошел Топорок из деревни.

У перекрестка он обернулся. Мать сидела теперь на ступе, что остался от крыльца, обхватив руками непокрытую голову.



Снова продвигалась дивизия от рубежа к рубежу. Комдив то двигал свои войска напролом, то совершал обходный маневр; шел за своими войсками пешком, как простой солдат, истинный пехотинец.

Устроившись в очередном окопчике, комдив разворачивал перед собой график — зашифрованный план армейского наступления.

Сегодня его дивизия отставала от соседей. Генерал поглядывал на армейских связистов и то и дело ждал звонка из штабарма. Второй дивизион, поддерживавший Устинова, огня не открывал. Устинов медлил с атакой.

— Ну, как дела, Устинов? Двигай, родной, двигай! Не жди, до свету нужно кончать с «крестиком». (Так на картах комдива обозначалась церковь, за которую шел бой.) Что говоришь? Нет связи с «глазами»?.. «Паутина»<sup>1</sup> перебита? Двадцать минут тебе даю. Не больше.

Разведчики второго дивизиона были прибиты огнем ко дну воронок недалеко от немецкого переднего края.

Нельзя было ни оторваться от земли, ни приподнять голову, ни протянуть руку, чтобы встретить руку соседа. Пули, осколки, комья глины и камни густой сеткой ложились на землю. Связь бездействовала.

В одной из воронок, поблизости от Топорка, лежала Наташа. Еще с вечера она установила недалеко отсюда свой аппарат. Яму, в которой она устроилась, Медников завалил ветками и засыпал сверху землей.

Всю ночь лил проливной дождь. Гремел гром. Небо

---

<sup>1</sup> Телефонная сеть.



разрезали молнии. Насыпанная на ветки земля за ночь размякла и липкой жижей стекала вниз. Наташа прижималась к стенке. Жидкая глина со всех сторон обступала ее. Холодный глиняный кисель лился за ворот.

Под утро дождь перестал. Гром стих. Нужно было вернуться в оперативную группу. Но едва успела она выбраться из ямы, загремела артиллерийская канонада. Грохот раскалывал предрассветное небо. Она отползла несколько шагов и спустилась в воронку рядом с Топорком. Хотелось как можно глубже уйти в прохладную подземную тишину. Грунт был свежий, мягкий. Она лежала, плотно прижимаясь грудью ко дну ямы, разгребая землю крепкими, затвердевшими пальцами.

Теперь Наташа уже понимала реальность опасности на войне; умела различить по свисту мину и снаряд, по разрыву — калибр, по воздушной волне — расстояние до разрыва; если считала нужным, ложилась на землю, даже закапывалась, ни на кого не оглядываясь. Но, пожалуй, сейчас чувство опасности стиралось усталостью. Больше всего хотелось одного: чтобы грохот прекратился хотя бы на минуту.

...Стволы батарейных орудий были наведены на запад.

Но как узнать точные координаты? Куда направить огонь? Почему разведчики не дают о себе знать?

Наушники, висевшие на голове дежурного телефониста Гайдая, упорно молчали. Ермошев ходил вокруг немого орудия, озабоченно покусывая ногти.

С востока на небо уже была наброшена светящаяся паутина. Запад был затянут строгой темной синевой.

Больше всех на батарее волновался Гайдай, Длинный Каряга. Где-то там, в густой синеве, на другом конце провода, у самой немецкой траншеи, под жесто-

ким огнем лежал Топорок, Короткий Каряга, его единственный друг. Телефонисты уходили по линии, но никто из них не возвращался обратно. В телефонной трубке слышались слабые голоса.

— Фиалка, я — Ручеек. Фиалка, я — Ручеек.

Тонкий девичий голос — и правда, как ручеек — бежал по проводам. Неужели Наташа?

Гайдай прислушался. Нет, не то. Это просто где-то перепутались провода и к линии артиллеристов подключилась «паутина» стрелкового полка, стоявшего во втором эшелоне.

— Я — Ручеек, я — Ручеек, — бежал по проводам девичий голос.

В трубке слышались многозначительные покашливания.

— Ручеек, не протекайте мимо. Проверьте Крапиву.

— Ручеек, разрешите узнать время.

— Три тридцать пять.

— А у нас три тридцать пять с половиной.

— Зачем спрашиваете, когда знаете?

— Ах, простите, я и забыл.

— Ручеек, позовите, пожалуйста, третьего.

— Кто спрашивает?

— Журавль.

— Да ведь он на Журавле.

— Извините, перепутал.

— Да ну вас...

И чей-то голос потише (наверное, в отводную трубку):

— Бурьян, Бурьян! Иваницкий, сменись с Хоменко. Леля на линии. Пусть послушает... Жаль малого...

Гайдай с раздражением бросил наушники. Его возмущало, что люди могут сейчас шутить, заниматься

ерундой, говорить о чем-то постороннем, в то время как Топорок, Короткий Каряга...

— Товарищ комбат, разрешите отдать наушники и пойти по линии, — попросил Гайдай.

Комдив посмотрел на часы и взял трубку.

— Слушай, Устинов, двадцать минут на исходе. Связь не налажена? Что? Идет бронепоезд? Этого еще нехватало!

Генерал передал трубку телефонисту и снова впился в окуляр трубы.

...А разведчики попрежнему лежали в ячейках, оторванные от своих, прижатые к земле настильным огнем. И отсюда один за другим на линию выползали связисты, но никто не возвращался обратно.

— Наташа, — позвал Топорок из соседней ячейки, — может, мне повезет...

Топорок надел на себя катушку с кабелем и вылез.

Он полз, пригибаясь к земле, связывал порывы и двигался дальше. Снаряд разорвался перед ним прямо по линии. Топорок влез в горячую воронку и стянул разорванные провода. Он двинулся дальше и наткнулся на труп связиста. Парень еще недавно лежал рядом с ним, в соседней ячейке. Послышался близкий оружейный выстрел. Топорок лег за трупом и надвинул его на себя. Труп обдало осколками и землей.

«Как бы Гайдай не вышел на линию!» тревожно подумал Топорок. Каряга Короткий относился к Каряге Длинному покровительственно, считая себя более «бывалым».

Топорок вылез из-под трупа, не отдавая себе отчета в том, что делает, снял с покойника каску, зачерпнул из

воронки воды, жадно припал к краям каски пересохшими, в трещинах губами и, только когда показалось зажатое дно с пропотевшей матерчатой подкладкой, отбросил каску, отряхнулся и снова пополз.

«Скорее, скорее!» подталкивал себя Топорок.

Его маленькое тело быстро скользило вдоль провода. Провод поднимался на приземистый холмик. Здесь снова начинался большой порыв. Огромного куска провода не хватало. Очевидно, место было пристреляно противником. Неподалеку о землю снова ударил снаряд. Топорок повернул голову и увидел на горизонте черные контуры бронепоезда. Топорок с отчаянием смотрел на порыв: на катушке кабеля больше не было. В злом бесилии повторял он множество крепких слов.

Впереди в серой предутренней мгле двигался темный клубок. Клубок быстро приближался к холму и распутывался на глазах. Топорок уже различал отдельно руки, ноги и тело ползущего. И наконец он всмотрелся в лицо.

«Это же он, Гайдай!»

— Каряга, куда тебя несет?! — закричал Топорок.

— Туда, куда и тебя, Каряга, — отвечал Гайдай.

— Эх, ты, Длинный!

— Эх, ты, Короткий!

Гайдай остановился у холмика и сокрушенно взглянул на порыв. Его катушка тоже была пуста. Несколько минут они молча смотрели друг на друга и на порванный провод. И вдруг Топорка осенила счастливая мысль. Он не успел ничего сказать: Гайдай сразу понял его. Или, может, это Гайдай первый подумал о том, что пришло догадкой его другу? Они не обмолвились ни одним словом и молча сбросили сапоги. Топорок зажал между ладонями конец оборванного провода и лег на землю. Гайдай подошел к Топорку, схватил рукой

его голые ноги и вытянулся вдоль холма, упираясь ногами в противоположный конец провода.

Цепь была замкнута...

Телефонист, сменивший Гайдая, от неожиданности вздрогнул. Наушники захрипели:

— Удар, я — Глаза. Удар, я — Глаза... Нахожусь... Координаты... Дайте огня...

Ермошев бросился к орудию.

Батальоны Устинова поднялись в атаку.

Через полчаса комдив развернул карту и обвел красным кружком крестик, обозначавший церковь.

Наташа уже давно покинула свою воронку и разыскивала дивизионный КП. Комдива она увидела посреди поля, на небольшом холме. Два тела распластались на холме. Кулак одного судорожно сжимал конец провода. Длинные, оттянутые носки второго упирались в другой конец. Один — широкоплечий, короткий; другой — худощавый, напряженно вытянутый во всю длину стройного тела. Неразлучные Каряги! Они лежали неподвижно, облитые запекшейся кровью, с белыми, бескровными лицами. Их гимнастерки были прострелены во многих местах. Они крепко держали один другого, словно заведшая тем, кто остался жить и воевать, великое содружество боя.

Генерал, обнажив голову, опустился на колени.



Наташа положила на свежую могилу хвойный венок и бросила последний взгляд на торопливо сделанную надпись:

«Топорок и Гайдай, два друга, пали смертью героев».

Кладбище уходило в сторону от большака.

Стоял мягкий осенний день. Теплый ветер поднимал блестящую паутину бабьего лета, ласкал щеки. Хотелось лечь на траву, растянуться, подставить ветру усталое тело.

Но знала Наташа: даже здесь, на кладбище, этот покой лишь на минуту. Скоро загремит залп. Снова начнется движение.

А все-таки она придет когда-нибудь — не минутная, а прочная тишина первого дня после конца войны... Может быть, потому, что Наташа устала, ей хотелось сейчас, чтобы день этот был совершенно тихим. Чтобы стало слышно, про что поют птицы и о чем молчат полевые цветы.

Только ни Топорок, ни Гайдай этого не услышат...

Наташа переходила от могилы к могиле. «Сентябрь 1943 года», стояло на деревянных дощечках. На одной из дощечек было написано: «Лев Абрамович Гольдин, майор, военный корреспондент, пал смертью храбрых в бою за...»

Наташа вздрогнула и остановилась... Значит, и он... славный большеглазый Гольдин!

А диссертация о Шевченко? Уже никогда не придется ему ни писать, ни думать...

Взрыв. Впереди застонала, заныла земля. Оборвалась короткая тишина. Впереди загудело. В грохот врезался многоголосый крик:

— А-а-а!..

Началась атака.

Весь день на КП приводили пленных. Только вечером Наташа вышла из блиндажа. Вспомнилась далекая ленинградская ночь, ночь перед отъездом на север.

...Ширь Марсова поля. Братское кладбище. Могилы героев гражданской войны. Имена на камне. Хочется проникнуть в судьбы всех людей, спрятанных за этими камнями. Вверху, на буром граните, высечены слова. Сергей тянется вверх и читает вслух: «Они не жертвы, а избранники. Не сожаления, а зависти они достойны...» От этой надписи не уйти...



После боя комдив — он делал это каждый вечер — вызвал к себе начальника штаба и стал расспрашивать его о вещах, казалось бы, не имеющих прямого отношения к бою. Не упустил он ни фуража для транспортной роты, ни запаса медикаментов, ни состояния дорог в дивизионных тылах.

Комдив держал в памяти все дела вверенной ему части, вплоть до самых как будто незначительных.

Управляя боем, занимаясь всеми вопросами сложного дивизионного хозяйства, комдив не забывал спросить у дежурного телефониста, не жмут ли ему новые сапоги, узнать у Наташи, что пишет мать в последнем письме, заставить начальника штаба лично обойти все палатки санбата.

Умел он в каждый момент боя сохранить всю полноту своей широкой души и потому всегда видел все уголки и стороны жизни.

Выйдя из блиндажа генерала, начальник штаба облегченно вздохнул, словно только что выдержал самый трудный экзамен. Он постоял несколько секунд в окопе, вспоминая последние слова комдива, вынул блокнот, записал еще несколько цифр и тяжело вытащил свое большое тучное тело из траншеи.

— Воздух! — снова пронеслось по окопам.

Не обращая внимания на крик, полковник нетороп-

ливо шел по полю, весь поглощенный своими мыслями, то и дело вынимая блокнот и что-то записывая.

— Товарищ полковник! Прячьтесь! — крикнула ему Наташа, спускаясь в воронку.

Полковник медленно шел дальше. Уже гудел над полем мотор. Полковник остановился и стукнул себя по лбу:

— Насчет уборки картофеля позабыл! — с досадой сказал он. — Ладно. Сам сделаю. Кого ж только послать?

Он присел на бруствер какого-то окопчика и, засунув карандаш за ухо, стал озабоченно перебирать бумаги.

На поле упал тяжелый грохот обвала и всех, кто находился вокруг, крепко прижал к земле.

С молниеносной быстротой в сознании Наташи пронесли последние слова из письма Сергея: «Ты обязана жить». И все куда-то исчезло. Земля под руками билась, как в лихорадке. И уже не было грохота. Только на зубах почему-то скрипел песок.

Когда Наташа открыла глаза, вместо окопчика, на бруствере которого сидел полковник, высился небольшой курган.

— Засыпало! Начальника штаба засыпало! — закричала Наташа.

Из ячеек выскочили люди с заступами и ломami.

«Обмолот» поляны усиливался. Копать приходилось под хлестким градом осколков.

Земля, спрессованная взрывом, поддавалась с трудом.

Показался китель. Полковника вытащили из ямы. На нем не было ни одной царапины. Но весь он был синий, раздутый, на губах застыла белая пена.

Генерал склонился над телом мертвого:



— Как же мне без тебя воевать? Как же к Елене твоей без тебя притти?

Слезы катились по лицу комдива в седые усы.



Бои становились все ожесточеннее. Дивизия неуклонно продвигалась вперед, но за каждый шаг приходилось платить дорогой ценой. Наташа уже не думала, что все летящие пули, снаряды и осколки не имеют к ней никакого отношения. Однако в глубине души она попрежнему не допускала мысли, что ее могут убить, и беспричинно верила в свое солдатское счастье.

В это утро у разведчиков выдался свободный часок. Взялись за письма. В первую зиму Наташа писала матери редко: слишком больно было вспоминать о прощании в эшелоне. Теперь она писала почти ежедневно. Письма были короткие, всего в несколько слов.

«Дорогая мамочка, — писала Наташа, лежа на бруствере и подсунув под листок полевую сумку, — за меня не беспокойся. Я в безопасности. Если бы ты знала, какой замечательный у нас хозяин!.. Ни с кем, кто находится с ним рядом, ничего случиться не может...»

В эту секунду шальной осколок снаряда сорвал с головы пилотку, коснулся волос и упал перед ней, пробив листочек письма. Рука с огрызком чернильного карандаша застыла в воздухе.

— Опасность воздушного нападения миновала. Отбой! — произнес рядом с ней голос, подражающий московскому диктору.

Она оглянулась и увидела Аршинова. Они рассмеялись.

«...Так что ты не волнуйся...» продолжала она.

К брустверу подполз Попрышкин:

— Нет ли у тебя, Наташа, ниток?

— А зачем тебе?

Попрышкин замялся. Неделю тому назад Аршинов представил его к ордену Красной Звезды. Но в отделе кадров произошла заминка.

— Так вот убьет, и поносить его, орден-то, не успеешь, — сказал Попрышкин. — Хоть бы сняться с ним и домой карточку отослать.

Он взял у Наташи суровую нитку и стал обшивать маленькое аккуратное отверстие над левым карманом гимнастерки.

— Хочу заранее подготовиться, — смущаясь, сказал Попрышкин. — Как получу — сразу надену и прямо к фотографу.

Наташа поднялась:

— Пойду послушаю, не болтают ли чего немцы...

Она пошла к блиндажу комдива, где стояла рация.

Грызлин сидел в своем блиндаже, облокотившись на небольшой складной столик.

— Да, не уберег я тебя, — вполголоса говорил генерал. — На Колчака вместе ходили...

Минуту спустя он прибавил, разведя руками:

— Да где же всех вас, родные мои, мне уберечь?

Генерал обернулся к сидевшим в блиндаже офицерам и глухо сказал:

— Считаю, что генерал озабочен только общим исходом сражения. Не знаю, кто как, а я уже четверть века командиром, и каждый раз больно, когда падает человек. Но землю-то нашу нужно освободить, — повторил он слова, которые Наташа уже не раз слышала от него. — Нужно, — отвердевшим голосом сказал он еще раз.

И Наташе отчетливей, чем когда-либо, стало ясно, как это нужно — не спать по девять суток подряд и на десятые сутки снова итти, как нужно зарываться в пыль и мокрую глину окопов, как нужно и то, что было труднее всего для генерала, — итти вперед, шагая через тела своих только что увидевших жизнь сибирских и ростовских мальчиков.

Наташа смотрела на седеющего комдива и думала: «Любому из нас дано погибнуть только однажды, а у него над каждым из нас сердце обливается кровью. Да, ему тяжело, тяжелее, чем всем... Но именно потому так легко выполнять его приказания...»

И неожиданно за фигурой комдива перед ней вырос образ другого, самого большого полководца, который тоже вобрал в себя горе каждого, обо всем подумал и все предусмотрел. Только уже не в дивизии, а во всей Советской земле.

Себя Наташа чувствовала маленькой, но тоже нужной боевой пружинкой. Она сидела в углу землянки и ждала, что генерал обратится к ней. Ей хотелось в эту минуту получить чрезвычайно важное и чрезвычайно опасное задание. Ей хотелось вытянуться перед генералом и по-солдатски отчеканить: «Ваше приказание будет выполнено любой ценой, товарищ генерал!»

Но генерал к ней не обращался и ничего ей не приказывал. Он снова проверял состояние боевых дел в отдельных частях и подразделениях своей дивизии.



Положение опять становилось серьезным. Опасности подвергался даже наблюдательный пункт комдива.

— Товарищ генерал, может отодвинем КП на-

зад? — робко спросил дежурный офицер, зная заранее ответ генерала.

Грызлин ничего не ответил. Он не мог сейчас ни на минуту терять связь с полками. На переднем крае было напряженно. По замыслу комдива, полк Семенихина должен был зайти в тыл сильно укрепленному пункту Бобруйки, чтобы с тыла поддерживать атаку Устинова, которого генерал направлял противнику в лоб.

Полк Семенихина должен был смыкаться с левым соседом. Но сосед почему-то сузил полосу своего наступления, и в сомкнутой линии наших войск образовался прорыв. Семенихин, зайдя в тыл немцам, оказался в кольце и испытывал сильное давление противника со всех сторон.

Атака Устинова откладывалась — ожидали снарядов. Генерал держал связь с Семенихиным только по радио. Семенихин волновался. Генерал уловил это даже на расстоянии — по изменившемуся голосу Семенихина.

— Вот что: прежде всего приведите лично себя в порядок, — сказал генерал. — Пока не будете в состоянии говорить нормальным голосом, меня не вызывайте. Почему воротничок не на оба крючка застегнут? Так со старшим не разговаривают. Что? Вижу по радио. Да, без телевизора. Держитесь своими силами. Ишь, привыкли к резервам!

Генерал крепко выругался и обернулся, почувствовав на себе чей-то пыливый взгляд. Заметив Наташу, которая сидела у радики, комдив усмехнулся:

— Что так внимательно слушаешь? Это не для тебя. Смотри никому никогда не рассказывай, как твой генерал ругался. А тебе по секрету скажу: без этого иногда нельзя.

Он отошел от рации к телефону.

— Алло, Устинов! Сейчас же сомкнуться с Семенихиным. Пусть пробивается Волочаев. Выполняйте немедленно!

— А Семенихину, и правда, не сладко, — сказал он как бы про себя и вернулся к рации.

— Алло, Семенихин! Туговато, говоришь? А ты перехитри его. Устиныч — огонь, зато ты у меня самый хитрюга. Ведь я тебя знаю. Делай, как было условлено. А я для тебя кое-что придумал. Скоро увидишь.

Он хотел уже отойти от рации, но остановился. Хитрая улыбка пробежала по его лицу:

— Еще вот что хочу сказать: знаешь, война-то ведь скоро кончится.

Наташа тихонько взяла у связиста параллельную трубку.

— Не... не понимаю вас, товарищ семьдесят, — проговорил Семенихин.

Очевидно, в этот момент Семенихин скорее склонен был думать о конце своего полка и о собственном своем конце, чем о конце войны.

— Не понимаешь? Говорю: война скоро кончится. Что мы с тобой тогда делать будем? Чем свой кусок хлеба заработаем? Как думаешь, не податься ли нам в деревеньку? Купим удочки, будем карасей удить. Согласен?

— Очень даже согласен, товарищ семьдесят, — слышался ответ Семенихина.

И по его голосу можно было почувствовать, что цели своей комдив достиг. Командир полка снова владел собой, хотя в обстановке еще не произошло никаких существенных изменений.

— Виноват. Поволновался больше, чем положено, — сказал Семенихин.

Генерал знал, что Семенихин стоит сейчас у своей радиации навывтяжку, с застегнутыми крючками воротника.

Немного погодя генерал вызвал к телефону третьего командира полка, которого до сих пор он держал в резерве. Сенякович совершал обходный маневр на правом фланге.

Наташа снова попросила трубку.

— Да бей же ты их, проклятых! Чего жалеешь? Действуй решительнее. Неужто не надоели они тебе? Мы с Семенихиным дачу снимать вместе уже сговорились после войны, а ты все на месте стоишь. Контратакует? «Тигры», говоришь? Что тигр против льва!

В телефонной трубке раздался смех. Комдив узнал Семенихина.

— Как же ты из кольца в «паутину» включился? — поразился комдив.

— Я уже не в кольце. Устиныч выручил.

К голосу Семенихина присоединился хохочущий басок Устинова.

— Чего же вы смеетесь? Как впереди? — спросил комдив.

— Все спокойно. Ничего серьезного, товарищ семьдесят, — ответил Семенихин.

— У Сеняковича галлюцинация: тронится в глазах, — добавил Устинов.

— «Тигры»?

— Да нет, просто кошки.

— Помощь нужна?

— Нет.

— Ну, смотрите.

Генерал отошел от радиации обеспокоенный. Через полчаса позвонил Устинов:

— Товарищ семьдесят! Разрешите подарить вам

шкуры убитых тигров. Целых четыре. Пригодится на пол стелить на новой-то даче.

— Да ты ведь сказал — у Сеняковича галлюцинация!

— Простите, товарищ семьдесят. Серьезного, действительно, не было. Решил вам сделать приятный сюрприз. Выкинул перед своим фронтом танкетки, маневрировал ими и перетянул «тигров» от Сеняковича на себя. А тут бутылками закидал. Вы ведь сами учили: контратаки противника нужно любить и уважать.

Лицо комдива помолодело от удовольствия:

— Четыре с плюсом ставлю. Только не зарывайся! Вот что. Глаза у тебя хорошие? Глянь-ка подальше. Видишь, у Ольги Александр Невский стоит. Тебя дожидается, честное слово. Только до него нужно еще дотопать. Сам на правую сторону привинчу. Да... Орешков? Поджидаю. К вечеру будет. Пошелкаем.

Ольгой на кодированных картах дивизии обозначалась станция Починок, что расположена на железнодорожном полотне между Рославлем и Смоленском.

Большой штурм комдив предполагал начать ночью, когда будет доставлен комплект снарядов.

Атмосфера как будто разрядилась. Командиры обрели прежнюю уверенность. Да и противник почему-то успокоился и прекратил огонь.

Но теперь тревогу испытывал сам комдив. Ему не нравилась эта тишина. У него были свои предположения. Высказывать их кому-нибудь он не считал нужным.

Комдив молчаливо изучал карту. Потом вызвал Медникова и Аршинова. Теперь Медников редко бывал на НП — он сам «проползал» каждый новый рубеж. Генерал задержался взглядом на чортовой коже его

широких морских галифе, добросовестно протертой вдоль коленей.

— Подойдите ближе... — Комдив говорил совсем тихо. — ...и взять аппарат для подслушивания. Кажется мне, затевают они что-то... — услышала Наташа последние слова генерала.

Аршинов и Медников вытянулись перед комдивом.

Наташа поняла: это то самое чрезвычайно важное боевое задание, о котором она мечтала весь день.



Она лежала на спине, закинув голову, посреди ровной, открытой поляны. На нее опрокинулось все вечернее небо, чистое и высокое. А воздуха нехватало. Каждый раз, когда она хотела вздохнуть поглубже, что-то скрипело внутри. Из раны в боку с присвистом била кровь. Кровь поднималась горлом. Ее вкус чувствовался во рту. Наташа задыхалась. Кроме крови, она ощущала в глотке, в носу, в ушах комки глины, песку и грязи. Выбросить их не было сил.

Попрышкин, сам раненный в бедро, доташил ее до этой поляны. Теперь и его покинули силы. Он лежал рядом. Наташа понимала, что больше он не может помочь ей.

Донесение, с которым она должна была явиться к генералу, было более чем важным и очень спешным: Наташе удалось перехватить по телефону сообщение о том, что к переднему краю подходит танковая бригада. Кроме того, боевые порядки на переднем крае только что заняла семьдесят восьмая дивизия. Номер этой дивизии стоял на солдатской книжке, взятой у часового, которого Попрышкин «снял» в немецком боевом охранении.



Наташа знала, что семьдесят восьмую дивизию немецкое командование бросало в особых случаях, на прорыв, лишь тогда, когда предполагалась серьезная наступательная операция.

Нужно было немедленно сообщить обо всем генералу. Наташа достала из полевой сумки листок и написала несколько слов.

— Вот что, Попрышкин, ползи один, только скорее. Передай это хозяину.

— А ты?

— Подтащи меня поближе к дороге. Пойдут мимо — подберут.

...Она осталась одна. Ей показалось, что Попрышкин подтащил ее слишком близко к дороге. Она хотела сдвинуться и не смогла.



Оперативный дежурный передал комдиву Наташину записку. Она подтверждала предположения генерала. Грызлин позвонил «наверх», в штаб армии. Через пять минут в блиндаж комдива входили командиры полков.

Не сгибаясь, порог переступил высокий, быстрый, резкий в движениях Устинов. Майор сел, но казалось — он сейчас же вскочит и начнет шагать по блиндажу. Вся фигура его выражала с трудом сдерживаемую стремительность. Он на лету ловил замечания комдива и делал быстрые пометки в своем блокноте.

Семенихин немножко косил, и это придавало его флегматичному, как будто заспанному лицу хитрое выражение.

Сенякович, недавно контуженный, приставлял к ушам ладони, чтобы расслышать слова генерала.

Объяснив обстановку командирам полков, генерал

приказал вызвать конюха разведроты и старшего лейтенанта Медникова, который только что вернулся с переднего края.

Маскхалат Медникова был облеплен грязью и во многих местах разорван. Левую руку с забинтованной ладонью он держал за спиной.

— Хорошо знаете местность, Прохор Данилович? — обратился комдив к конюху.

— Как же не знать! Чай, здесь родился и состарился, вихрь меня забори, — ответил ефрейтор, довольный тем, что генерал обращается к нему по имени и отчеству.

— Так вот, Медников, будет серьезное дело тебе, — сказал генерал. — Давно ты просил у меня. Прохор Данилович проведет тебя через линию фронта, а там...

Они склонились втроем над картой.

— Зайти к переправе и поджидать танки. Взять с собой тол... Остальное понятно. Вспомнишь старинку. С тем, чтобы больше не забывать. Ясно?

Медников выпрямился:

— Ясно, товарищ генерал. Вы увидите... Я должен... Я семь шкур спущу с этих «тигров»...

Он замолчал. Стоял вытянувшись, счастливый, сдержанный.

— Не терять ни минуты, — добавил комдив.

Медников и Прохор Данилович вышли.

Как только все необходимые меры были приняты, комдив спросил оперативного дежурного:

— А где же Наташа? Кто принес донесение?

— От нее пришел боец разведроты, товарищ генерал, — ответил дежурный. — Не пришел, а приполз, передал бумагу и сразу потерял сознание. Пришлось отправить в санбат.



Наташа попрежнему лежала у дороги. Яркие звезды кололи глаза. Задавленная тяжестью того, что упало откуда-то и прибило ее к земле, она не могла ни вздохнуть, ни поднять руки. Боли уже не было. Не было и полного сознания.

Временами Наташа переставала чувствовать на себе тяжесть, и ей казалось, что, может быть, нет и ее самой. Она лежала, погруженная в тишину. Ни один звук не доходил до нее. Она задремала. Ей приснилось: война кончилась, генерал пригласил ее в гости к себе на дачу.

— Тише, тише! Шуку спугнете, — сказал генерал и закинул удочку.

Резкий рокот прошел сквозь кровь, застоявшуюся в ушах, и больно ударил в мозг.

— Тише, тише! Шуку спугнете, — повторила Наташа и открыла глаза.

Прямо перед ней, закрывая звезды, в сторону немцев летели советские самолеты.

Гул с неба спустился на землю.

По полю и по дороге шли самоходные пушки и противотанковые орудия.

Значит, Попрышкин передал генералу ее донесение. Она почувствовала гордость и даже, может быть, зависть к себе самой.

— А если бы все предстояло начать сначала? — спросила она себя.

— Все повторилось бы так же.

— Ты ни в чем не раскаиваешься?

— Нет. Именно так я понимаю счастье.

Орудия приближались.

«Едут, а не знают, что это я вызвала их сюда», подумала Наташа.

И вдруг она поняла, что они не знают и того, что она лежит здесь, и даже того, что она вообще существует.

Головная машина держалась края дороги. Наташа поняла, что ее неминуемо заденет, сомнет или совсем раздавит левой гусеницей, если машина не свернет в сторону. Она хотела крикнуть, но в горле застрял липкий комок свернувшейся крови и грязи.

Впервые в жизни Наташа потеряла веру в свое бессмертие. Ей показалось, что до сих пор времени в ее жизни было совсем мало. Но обиднее всего было даже не это. Обиднее всего было то, что она не погибла раньше, что ей предстоит умереть не в бою, а от своих собственных, советских пушек, вызванных ею самой на эту дорогу.

Когда головная машина поровнялась с нею, Наташа уже не сомневалась, что это конец. Машина прошла на расстоянии нескольких сантиметров. Ее не задело. Наташа вздохнула с облегчением и увидела, что на нее надвигается широкая тень следующей машины. Она глотнула воздух и захлебнулась.



Очнулась Наташа на рассвете. Как узнала она позже, водитель самоходной пушки заметил ее и подобрал с дороги. Теперь она лежала перевязанная в какой-то избе, на просторной деревянной лавке.

— Аршиныч, проверь посты! — приказал чей-то знакомый голос.

— Где я? — спросила она так невнятно и тихо, что ее никто не расслышал. — Где я? — повторила она напрыгаясь.

— Наверное, пить просит, — мягко сказал кто-то очень знакомый.

«Генерал Грызлин», узнала Наташа. И она поняла, что осталась жить.

Она беззвучно пошевелила губами. Ее снова никто не понял.

— Вот мы и дошли до рубежа Рославль — Смоленск, — сказал генерал, так и не расслышав, о чем она спрашивает.





Г. Б Е Р Е З К О

К Р А С Н А Я  
Р А К Е Т А

*Моей матери*

Автор

Лейтенант Горбунов в 17.30 поднял своих людей в атаку и, выполняя приказ, с боем ворвался на восточную окраину деревни. Часть его стрелков залегла в оледенелых окопах, оставленных немцами. Горбунов, стреляя из автомата, вбежал в темное здание школы. Прерывистое пламя осветило пустую комнату, засыпанную битым кирпичом. Горбунов остановился и перестал стрелять. За спиной он услышал топот ног и тяжелое дыхание победителей. Бойцы занимали класс за классом, распахивая прикладами двери. «Ура» смолкло, и высоким,

сорванным голосом лейтенант приказал выпустить три белые ракеты. Таков был установленный приказом знак его боевого успеха. Ракеты ушли в небо, и теперь самому Горбунову следовало ждать сигнала. Красная ракета в юго-западном направлении должна была известить его о начале общего наступления. Горбунову предписывалось поддержать атаку главной охватывающей группы, а затем соединиться с нею для уничтожения врага. Приказ был ясен и немногословен, как всякий хороший приказ.

Бойцы расположились в школе. Они перезаряжали оружие, шумели, ели снег, потому что огромное возбуждение сжигало их. Поднятые на ноги страшной силой ожесточения и гнева, они только что бежали на ледяной вал, озаренный слепящими вспышками автоматического огня. Сила, родившаяся из воли к жизни, уничтожила боязнь за нее и теперь все еще искала выхода. На черных, припеченных морозом лицах сверкали белки жестоких глаз. Пар, вылетающий из открытых ртов, носился над головами.

Горбунов стоял посреди класса и, крича, отдавал приказания. Через большой овальный пролом, пробитый в стене снарядом, было видно туманное лунное небо. В голубоватом воздухе проносились золотые светляки трассирующих пуль. Горбунов подошел к пролому и, прижавшись к стене, выглянул наружу. Впереди, метрах в полутора, на высоком берегу оврага, отделявшего деревню от школы, были немцы. Они укрылись в темных, заваленных снегом избах. В подполах на рассыпанной картошке немцы установили треноги тяжелых пулеметов. Невидимые дула были направлены в упор на школу и на окопы. За избами слабо синел заснеженный лес, похожий на упавшую тучу. Там, в ее глубине, должна была блеснуть молния главного удара, но лес был тих и непроницаем. Над передним краем неприятельской обороны

время от времени повисали осветительные ракеты. Мертвенный свет заливал овраг, и на дне его Горбунов отчетливо видел колодезный сруб, обросший льдом, тропинки, протоптанные в снегу, трупы, бесформенные, как чернильные кляксы. Далеко на горизонте горел хутор. Желтое, почти неподвижное пламя светилось в студеной глубине январской ночи.

Горбунов вытер лицо, нащупал на щеке сосульку, отодрал ее и почувствовал легкую боль. Оказывается, его оцарапало во время атаки, и он не заметил этого. Он собрал ладонью снег с кирпичей и приложил к щеке. Снег быстро растаял. Лейтенант посмотрел на руку, испачканную кровью, подумал, что щеку надо перевязать, и тотчас забыл об этом.

— Где лейтенант? — прокричал в темноте хриплый голос.

Горбунов узнал Медведовского, командира второго отделения.

— Что там еще? — закричал лейтенант. И только сейчас понял, что он все время кричит, хотя надобности в крике больше не было.

— Товарищ лейтенант, бойцы спрашивают, почему изверги по хатам греются, а мы на морозе топчемся

— Закрепились? — тихо, сдерживаясь, спросил лейтенант.

— Точно! — прокричал отделенный.

— Что вы кричите? — сказал Горбунов.

— Я не кричу! — крикнул отделенный.

— Закрепились, и ладно! — сказал Горбунов

Ему было жарко, и, развязав тесемки под подбородком, он поднял наушники шапки. Удивительное состояние злой лихости все еще не покидало его. На секунду у лейтенанта возникла сумасшедшая мысль: не дожидаясь сигнала, броситься со своими людьми в атаку и без



чьей-либо помощи овладеть деревней. Озорное чувство, подобное чувству счастливого игрока, удваивающего ставки, подмывало его. Но приказ был приказом, и фронтальная атака укрепленной позиции с теми небольшими силами, которыми он располагал, кончилась бы неудачей.

— Держите наблюдение, — сказал лейтенант. — Думаю, до рассвета мы обогреемся.

Бойцы сбились в тесную кучу. В углу белели их маскировочные халаты. После опустошающего напряжения атаки людям хотелось есть и курить. Они грызли сухари, и огоньки цыгарок пламенели в темноте.

— Он на меня вскинулся, — кричал Луговых, широколицый бородастый полевод из Зауралья, — а у самого от страха винтовка веером ходит! Ну, я не стал дожидаться...

— Я ему вежливо: «Сдавайся, сволочь!», а он за гранатой лезет. «Как вам больше нравится...» говорю...

Двоглазов не договорил и пожал плечами.

— Стрелил? — крикнул Луговых.

— Если враг не сдается, его уничтожают, — громко сказал Двоглазов.

— Верно! — закричал Кочесов. — Я сам так делаю.

Массивный, широкоплечий возчик из Баку, он шумно дышал, медленно поводя круглыми, словно пьяными глазами. Перебивая друг друга, солдаты вспоминали бой, в котором так хорошо дрались. Они чувствовали себя счастливыми, потому что были живы и видели, как бегут от них враги. Близость товарищей доставляла им сейчас нескрываемое наслаждение. Общность пережитой опасности и общность удачи удалили все, что в иных условиях могло и не нравиться людям в своих соседях. Они ругались от возбуждения и подшучивали друг над другом, как влюбленные.

Горбунов подозвал к себе сержанта Румянцева. Се-

рое пятно отделилось от стены и переползло по полу. Сержант встал за спиной Горбунова, и, обернувшись, лейтенант увидел черное курносое лицо с узкими смеющимися глазами.

— Спасибо, сержант, — сказал Горбунов. — Вас не задело?

— Живой, — с веселым удивлением ответил Румянцев.

Горбунов, улыбаясь, смотрел на сержанта. Он чувствовал к нему неясную благодарность. Это он, Румянцев, первым подобрался к пулеметному окопу, швырнул туда гранату и, когда уцелевшие немцы бросились наутек, закричал так, что все услышали: «Давай, ребята! Фашисты в наших руках!»

— Живой, — одобрительно повторил Горбунов, словно именно это обстоятельство было главной личной заслугой сержанта. — Ну и молодец!

Румянцеву нравился его командир. Но сейчас он с особенным удовольствием смотрел на скуластый профиль Горбунова, крупный нос его и тонкие губы. В том сопряженном с огромной опасностью деле, которое они вместе совершили, жизнь каждого зависела не только от личного умения или счастья, но и от того, как держались и поступали все остальные. Умелым действиям командира Румянцев приписывал в известной степени и свою личную удачу. Он неловко помолчал, не находя слов, чтобы выразить свое восхищение собеседником.

— Живой, — повторил он еще раз с оттенком признательности.

Лейтенант поручил одному из младших командиров следить, не появится ли в юго-западном направлении красная ракета. Взяв с собой Румянцева, он отправился осматривать школу. В дверях они столкнулись с Машей Рыжовой.

— Здравствуйте, товарищ лейтенант! — сказала Маша тоненьким, полудетским голосом. — Что новенького?

— Да ничего, — сказал Горбунов.

— Насилу добралась до вас, — сказала Маша.

— Она всегда доберется! — закричал Румянцев.

Девушка глубоко вздохнула, сняла шапку и тряхнула спутанными волосами. В лунном неярком свете ее круглое лицо с утонувшими в голубой тени глазами показалось Горбунову необыкновенно красивым. Как и все в подразделении, он гордился своим санинструктором. Но Маша была молодой девушкой, и Горбунов полагал, что к ней можно обратиться с вопросом, который он никогда не задал бы мужчине.

— Не страшно было добираться? — сказал он приветливо.

— Все меня об одном спрашивают! — сказала Маша. — Пространства вокруг много, а я в нем не такое уж большое место занимаю. Почему пуля именно в меня должна попасть?

— Пуля дура, — ласково сказал лейтенант.

— Правильно! — засмеялся Румянцев.

— Только три перевязки и сделала, — сказала Маша. — Вот и все потери.

— Как Ивановский? — спросил лейтенант.

— Отлежится, — ответила Маша.

— Не повезло бедняге, — заметил Горбунов.

Ивановский, заместитель его по политической части, был ранен в начале атаки.

— Запарилась я, — пожаловалась Маша.

— Отдыхайте пока, — сказал лейтенант.

По каменной лестнице с обвалившимися перилами Горбунов и Румянцев поднялись во второй этаж. В комнате, куда они вступили, была, видимо, школьная библиотека. Книги, покрытые залетевшим сюда снегом,

кучами лежали по углам. Выдранные листы голубели на темном полу. Горбунов нагнулся и поднял одну из книг. «Гоголь. Тарас Бульба», прочитал он на титульном листе. Лейтенант поднял другую книгу: «Жюль Верн. 80 тысяч лье под водой».

— Хорошая вещь, — сказал он Румянцеву и, смахнув рукавом иней с переплета, положил книгу обратно.

В светлом лунном прямоугольнике окна два бойца устанавливали пулемет. Длинный ствол был непривычно белым от инея. Горбунов поговорил с бойцами и пошел дальше. В соседнем классе сохранились еще на стенах картоны с наклеенными на них рисунками учеников. На четвертушках бумаги летели самолеты удивительных конструкций, росли цветы, обращенные к зрителю симметричными венчиками. Люди с вывернутыми в стороны ногами стояли возле маленьких нарядных домиков, и солнце, колющее, как еж, светило им с безоблачного неба. Иней лежал на сгибах бумаги, на сломанных углах картона.

— Ну точь-в-точь, как моя Лена, — заговорил Румянцев. — Девочка моя — большая художница тоже.

— Здорово рисуют! — убежденно сказал Горбунов.

Ему было двадцать четыре года, он не был женат. Но перед рисунками, на которых в разных направлениях были проставлены фамилии авторов — «Витя Погорелов, II класс», «Зоя Суровцева, I класс», «С. Г. Лукашин, II класс», «Нина Волкова, II класс», — лейтенант почувствовал себя если не отцом этих ребят, то старшим братом. Он восхитился ими, как ближайший родственник. И, как родственник, он ощутил удовольствие от мысли, что именно он со своими бойцами возвратил Нине Волковой ее школу. Немцы выгнали отсюда детей, разгромили библиотеку, загадили классы, и, вышибая немцев, лейтенант делал святое дело. Он восстанавливал справед-

ливость. Мысль об этом появлялась после боев, как бы в награду за перенесенные испытания. В самом сражении, в грохоте рвущегося металла, в сладковатом дыму пороха, в напряженной до предела деятельности имело значение, казалось ему, лишь то, что происходило вокруг. Когда стихал огонь, все забытое всплывало в памяти одно за другим, словно заново возвращаясь вместе с жизнью, которая еще раз была сохранена. Он грустил о товарищах, погибших в бою, и спрашивал, доставлена ли почта. Он испытывал голод и посылал узнать, когда подвезут обед. Сознание величия и справедливости борьбы, участником которой он был, наполняло его строгой гордостью. Оно рождало уверенность и спокойствие, недоступные тем, кто не стоял, подобно ему, лицом к неприятелю, чувствуя за своей спиной Родину. Лейтенант, как все строевики, невысоко ценил мужчин, оставшихся в тылу. Но иногда он думал о них с сожалением. Эти люди никогда не испытают радости, которую чувствовал сейчас Горбунов, глядя на ученические картоны. В удивительных цветах Нины Волковой раскрывался, казалось, смысл только что закончившейся атаки.

Несколько секунд Горбунов рассматривал рисунки, потом быстро пошел, подхваченный чудесной силой. Он проходил по родным владениям, с боем отнятым у похитителя. Он чувствовал себя воином и защитником слабых — Гоголя, Жюль Верна, Нины Волковой, которые вернутся сюда вслед за его бойцами. Он был человеком, возвращающим счастье.

Горбунов обошел классы и через коридор, загроможденный партами, проник в комнату с пустыми полками на стенах. Он был освободителем, и ветер победы нес его вперед. Лейтенант отшвырнул ногой цилиндр немецкого противогаза, и тот со стуком ударился о стену. В соломе,

наваленной на полу, поблескивали пустые консервные банки. Дверь в соседнюю комнату была закрыта, и лейтенант распахнул ее.

Угловая комната была наполнена голубым сиянием. Прямо против двери, прижавшись к стене, стоял высокий бородатый человек в черном пиджаке. Голова его была откинута и блестящие испуганные глаза устремлены на вошедших. Горбунов едва не крикнул: «Что вы здесь делаете?» — но осекся и сжал челюсти. Босые ноги человека не доставали до полу. В вытянутой руке была зажата фанерная узорная рамочка с фотографией, видимо сорванная со стены в последних судорожных поисках опоры. Тонкий электрический шнур, перехвативший шею, уходил под потолок. Стекол в окнах не было, и снег лежал на смятой постели, на столе, на пиджаке повешенного.

Горбунов и Румянцев вынули из петли тяжелое, негниблющееся, как доска, тело и перенесли на кровать.

— Должно быть, учитель... — сказал Румянцев.

— Да, — сказал лейтенант.

Внезапно стало очень светло. Зеленоватое пламя немецкой ракеты осветило комнату. Блеснули выпуклые белки стеклянных глаз старика, словно загорелись на мгновение жизнью. В фанерной рамочке, с которой учитель так и не захотел расстаться, была фотография девочки с двумя бантиками над висками.

— Дьяволы! — хмуро пробормотал сержант.

Они вышли и молча спустились по лестнице.

— Должно быть, внучка его, — сказал сержант.

Горбунов представил себе, как металась и скребли по стене руки старого учителя, пытаясь удержать падающее в смерть тело.

— Может быть, — сухо сказал лейтенант.

Ему было трудно говорить о замученном старике. В недавнем бою Горбунов лично застрелил одного немца,

и воспоминание об этом доставило ему некоторое облегчение. Он подошел к наблюдателю, оставленному у пролома. Почему-то Горбунову казалось, что сейчас он отдаст приказ об атаке. Он жаждал возмездия, немедленного и полного.

— Не было красной ракеты, товарищ лейтенант, — доложил наблюдатель.

— Вы хорошо смотрели? — спросил Горбунов.

И они оба поглядели на юго-запад, на далекий заснеженный лес, загадочный и темный, похожий на грозное облако.



Горбунов воевал уже достаточно долго, чтобы не удивляться непредвиденным помехам, часто менявшим хороший оперативный план во время его осуществления. Самое изобретательное воображение оказывалось, видимо, бессильным предусмотреть все комбинации случайностей: встречный маневр врага и неожиданное изменение погоды, безволие исполнителей или их излишнюю инициативу. Каждое из этих обстоятельств, в свою очередь, оказывало воздействие на смежные события, и количество нарушений первоначального плана стремительно увеличивалось, грозя ничего не оставить от превосходной диспозиции. Все это было известно Горбунову, но не облегчало его задачи. Тем более что успешное выполнение хороших планов было, как ему случалось видеть, вовсе не такой уж большой редкостью. Лейтенант ничего не знал о причине, помешавшей начать общую атаку, и поэтому не находил оправданий для задержки, усложнявшей его положение.

Прошло уже много времени, как он и его бойцы заняли окраину деревни, но наступление охватывающей группы не начиналось. Затянувшееся ожидание лишало

Горбунова очевидных преимуществ первоначального успеха. Время, подаренное врагу для подготовки отпора, поглотило ожесточенную энергию людей. «Они не испытывают теперь ничего, кроме усталости, холода и недоумения», думал Горбунов. Его начало тревожить и то, что в случае контратаки немцев он с кучкой своих бойцов может не удержаться здесь. Только что он сам обошел окопы. Его указания, как лучше закрепиться в них, были разумны, но лейтенант не чувствовал себя спокойным. Немцы, находившиеся в центре деревни, на высоком берегу оврага, могли простреливать всю покинутую ими первую линию. Горбунов знал, что его бойцы понимают это не хуже, чем он сам, и хотя не говорят ему, но трезво оценивают положение.

Мороз все больше давал себя чувствовать. Лейтенант опустил наушники и завязал их под подбородком. На крыльце школы он еще раз посмотрел в ту сторону, где должна была появиться красная ракета. В пустом иссиня-ледяном небе светил затуманенный лунный диск. Хутор на горизонте все еще горел. Но в заваленных голубым снегом, затопленных неярким сиянием полях даже огонь казался замороженным и неживым.

Горбунов вошел в школу. Бойцы дремали или молча, втянув головы в плечи, сидели вдоль стен, стараясь не шевелиться, сберегая иссякающее тепло. Они охраняли его, как хрупкую драгоценность, которую легко разрушить неосторожным движением. Горбунов сел таким образом, чтобы в проломе с выщербленными, словно изгрызенными краями видеть небо. Двое связных, посланные с донесением, все еще не возвратились, и Горбунов мысленно обругал их. Он вспомнил о капитане Подласкине, командире охватывающей группы, и с негодованием сжал кулак в меховой рукавице. Он был очень зол. Он вытянул ноги и вдруг почувствовал, что устал. Спать ему не хоте-



лось, но тело, до сих пор не напоминавшее о себе, внезапно изнемогло, охваченное слабостью. Лейтенант продрог и проголодался. Он с трудом извлек из кармана ватных штанов ржаной сухарь и переломил его.

— Маша, хотите есть? — спросил лейтенант.

— Что за женский вопрос? — сказала Маша.

Она переползла к нему, и Горбунов отдал девушке половину сухаря. Они сидели, касаясь друг друга плечами, трудясь над твердым, как железо, хлебом. В полутораэта метрах от них были враги. Оранжевые росчерки трассирующих пуль время от времени прорезали небо в проломе стены. Кто-то стонал в трудном сне, и кто-то в углу кашлял и сплевывал. Горбунов и Маша старательно хрустели сухарем. Лейтенант искоса посмотрел на девушку. Он увидел голубую полную щеку, утиный носик и волосы, опущенные инеем, выбившиеся из-под шапки. Маша жевала, щека ее двигалась. В стрельчатой тени длинных ресниц сиял большой влажный глаз. Лейтенант снова полез в карман и достал завернутый в бумагу кусок сахара. Маша грызла сахар, и на лице ее лежала прекрасная, спокойная задумчивость.

— Вот здорово было бы: один раз поесть — и чтоб на неделю! — сказала Маша. — А то каждый день, когда нечего делать, есть хочется...

— Точно, — сказал лейтенант. — Человек — существо несовершенное.

Сахар был съеден, но они продолжали сидеть рядом.

— Теперь бы стаканчик газировки, — сказала Маша.

— Чего? — не понял Горбунов.

— Воды газированной с сиропом... Я в Москве каждый день пила, — вспоминала Маша.

— После войны угощу вас шампанским, — галантно сказал Горбунов.

— Нет, я больше люблю кагор, — ответила Маша.

Некоторое время они сидели молча. Вдруг лейтенант почувствовал, что голова девушки опустилась к нему на плечо. Скосив глаза, он увидел, что Маша задремала. Она дышала ровно и тихо. Горбунов почувствовал было некоторую неловкость, но тут же успокоил себя рассуждением об особой близости, возникающей на переднем крае между командирами и подчиненными. Ему казалось, что он по-дружески хотел бы облегчить жизнь молодой девушки, добровольно и без жалоб разделившей с солдатами их трудную мужскую судьбу. У него болела спина, но лейтенант не переменял позы, чтобы не потревожить девушку. Он посмотрел в пролом красной ракеты — было В ту же минуту он услышал нарастающий стремительный скрежет. В проломе блеснуло белое пламя. Раздался грохот, и с визгом пронеслись осколки.

— Ох, я было уснула! — сказала Маша и поправила шапку.

Мины рвались одна за другой. В проломе вспыхивало, будто загораясь, небо. Кирпичная пыль летела в бушующем воздухе. Люди отползали от пролома и жались в темные углы, словно мрак способен был укрыть их от обстрела.

Горбунов быстро переполз и выглянул в пролом. Мины ложились по всей линии окопов. Взметенный разрывами снег носился вокруг школы. Линия темных домов над оврагом непрерывно озарялась вспышками выстрелов. Лейтенант положил руку на автомат.

— Румянцев, ко мне! Свешников, Петренко, ко мне! — закричал он.

Каждую минуту немцы могли сунуться сюда. Горбунов разослал людей с приказом быть наготове. Сам, пригибаясь, он побежал наверх, к пулемету. Он не чувствовал уже ни усталости, ни холода. Сознание ответственности, необходимость все предусмотреть и всем

распорядиться не позволяли ему подумать о себе. Он снова был очень занят, и все, что угрожало ему лично — осколок или случайная пуля, — казалось только досадной помехой.

— Обнаружили батарею? — закричал Горбунов пулеметчикам. — Почему не обнаружили?

Под ногами у них грянул гром. Две доски в полу приподнялись, ощерившись гвоздями, оторванные невидимой рукой. «Прямое попадание», подумал Горбунов. Но у него нехватило времени как-нибудь отнестись к этому событию.

— Вот она! — закричал лейтенант пулеметчикам. — За третьим домом справа...

Между избами, на краю оврага, било прерывистое сильное пламя. В белых вспышках выступали на секунду из тумана черное кружево голого зимнего сада, угол дома, резные наличники на окнах.

— По садику! — крикнул лейтенант.

Он подбежал к другому окну и, припав к раме, выпустил полный диск. Потом вернулся и, сиюсь перекричать пулемет, приказал:

— Меняй позицию!

Они перебежали в кухню.

Горбунов выломал переплет в окне, и бойцы просунули наружу ствол. Они дали длинную очередь, и серый пар повалил от пулемета. Пламя между избами исчезло и не появлялось. Наступила относительная тишина.

— И все? — сказал первый номер, глядя на лейтенанта.

— Точно сработано! — серьезно сказал лейтенант.

Он вспомнил о mine, попавшей в первый этаж, и побежал вниз.

— Мы работы не боимся, — сказал первый номер, закладывая новую ленту.



Спускаясь по лестнице, Горбунов подумал, что минутой позже он, пожалуй, не вышел бы из нижней комнаты. Подобные вещи с ним уже случались, как и со всеми, кто бывал под огнем. Мысль о том, что он избежал смерти или ранения, поразила его, и Горбунов почувствовал запоздалое волнение.

В нижней комнате все было черно. Снег сдуло с кирпичей. Горбунов увидел Машу. Девушка сидела у стены и, словно ожидая его, подняла навстречу смущенное лицо.

— Что с вами, Рыжова? — спросил Горбунов.

— Ой, товарищ лейтенант, — тихо, словно стесняясь, сказала девушка, — меня ранило.

Казалось, она сама не была убеждена в этом. Она смотрела на Горбунова так, будто с его приходом все должно разъясниться и снова стать таким, как несколько минут назад.

Горбунов и Румянцев перенесли девушку в соседний класс. Они положили ее на солому, и Румянцев ушел, чтобы распорядиться переноской других раненых.

— Куда вас, Маша? — спросил Горбунов.

— Вот сюда, — сказала девушка и не пошевелилась, чтобы показать рану. Лицо ее осунулось и побледнело, но виноватое удивление не сходило с него.

Лейтенант развязал тесемки маскировочного халата Маши. Полушубок на правой стороне груди был пробит осколком, и Горбунов осторожно расстегнул крючки. Он почувствовал теплый тонкий запах крови. Гимнастерка девушки промокла и дымилась. Из разорванного правого кармана торчал металлический колпачок карандаша.

— Я сама, — сказала Маша спохватившись. — Вы же не умеете.

Взглянув на нее, лейтенант увидел, что Маша улыбается. Она пошевелилась и вскрикнула.

— Лежи, Маша, лежи, — громко сказал Румянцев.

Он уже вернулся, и в руках у него была санитарная сумка Маши. Он достал ножницы и ловко разрезал гимнастерку. Действовал он уверенно, словно всю жизнь перевязывал раны и это было для него обычным делом. Казалось, он совсем не испытывал той бессильной жалости, которую так остро ощутил Горбунов.

Лейтенант вышел и прошел к пролому. Дежуривший там боец молча посторонился. Лейтенант сумрачно взглянул на него и ни о чем не спросил. Красной ракеты на юго-западе не было.

Немцы прекратили обстрел, но каждую минуту он мог возобновиться. «Я не смогу удержаться здесь, — подумал Горбунов, — нас перебьют одного за другим и без какой-либо пользы». К нему подошли командиры отделений и доложили о потерях. Три человека были убиты и пять ранены, из них двое — тяжело. Услышав фамилии хорошо знакомых ему людей, Горбунов отвернулся. Командиры замолчали, внимательно глядя на лейтенанта.

— Раненых перенесите сюда, — сказал Горбунов.

Он помолчал, медленно переводя угрюмые глаза с одного лица на другое. Командир второго отделения Медведовский негромко спросил:

— Как дальше будем, товарищ лейтенант?

— Оставаться на месте! — жестко сказал Горбунов. — Если фрицы сунутся — уничтожить их!

— Есть оставаться на месте! — выкрикнул командир второго отделения.

Лицо его стало замкнутым, и было непонятно, одобряет он решение командира или только подчиняется ему.

Горбунов понимал состояние своих бойцов. Каждая лишняя минута их пассивного сидения здесь грозила

новыми жертвами, в необходимости которых люди не были убеждены. Они не имели понятия о причине, не позволявшей им двигаться вперед, и поэтому готовы были предполагать ее отсутствие. Переубедить их Горбунов не мог, так как сам усматривал эту причину только в неспособности или нерешительности людей, с которыми его связывал оперативный план. Он не рисковал идти вперед, потому что по точному смыслу приказа ему следовало наступать во взаимодействии с охватывающей группой. Впрочем, с тем количеством людей, которым располагал Горбунов, он не в силах был атаковать один. Отойти он не отважился, потому что общее наступление могло начаться каждую минуту и его уход с завоеванного рубежа оказался бы в этом случае преступлением. Остаться на месте он, видимо, также не мог, и это было понятно любому бойцу в его отряде.

Командиры ушли.

Лейтенант перезарядил автомат и снова повесил его на шею. «Что-нибудь должно же произойти, — думал он, утешая себя. — В последнюю минуту всегда найдется какой-нибудь выход. Если Подласкин не начнет атаки, вернутся мои связные... Да и полковник не мог о нас забыть...»

Вдруг Горбунов увидел одного из своих связных. Красноармеец Митькин, вываленный в снег, стоял в дверях, оглядывая комнату. Брови, ресницы и небритая щетина вокруг рта обросли у Митькина белым льдом. Горбунов, сдерживаясь, подождал, пока боец не остановился перед ним. Но едва связной начал докладывать, Горбунов понял, что случилось худшее из всего, чего он опасался. Он опустил глаза, слушая торопливую, сбивчивую речь.

— Немцы в роще? — тихо переспросил он.

— В роще, товарищ лейтенант. Они нас обстреляли,

мы в сторону, к балочке подались... Но и там не проскочили. Мне Федюнин и говорит: «Беги к лейтенанту, доложи обстановку, а я буду до своих пробиваться. Не знаю — пробьюсь, не знаю — нет. А лейтенанту скажи — мы в окружении...»

— Федюнин не говорил этого, — сказал Горбунов.

Связной замолчал. Черное лицо его с белыми бровями было напряжено, как у человека, которому задали непосильную задачу.

— Глупости это, я Федюнина знаю. Не фрицы нас, а мы фрицев окружаем. Ясно?

— Ясно, — неуверенно сказал Митькин.

— Ну, а зачем же говорите?

Митькин машинально стащил с рук варежки и, сложив, как для молитвы, заочневшие ладони, стал дуть на них. «Умаялся, бедняга», подумал лейтенант. На лице бойца он видел откровенное и грустное недоумение. Вдруг Митькин понимающе усмехнулся.

— Ясно, — повторил он.

«Хитрит, — подумал Митькин. — Бойтся за моральное состояние... А зачем хитрит? Мы же ему в трудной обстановке первые помощники». Но Митькин не сказал этого лейтенанту. И хотя они оба одинаково понимали положение, в котором находился отряд, они друг для друга делали вид, что все обстоит благополучно.

— Вы сейчас снова отправитесь туда, вы знаете дорогу, — сказал Горбунов. Ему жаль было посылать измученного бойца, и поэтому он говорил строго. — С вами пойдет еще кто-нибудь. Во что бы то ни стало надо добраться до КП... На одной руке доползти, если что...

— Слушаю! — сказал связной.

Когда Горбунов отошел, чтобы снарядить еще одного бойца, Митькин подошел к Двоглазову.



— Сверни мне, друг, — попросил он, — сам не могу, пальцы застыли.

— Прижали нас? — осторожно спросил Двоглазов, подавая цыгарку.

— Да нет, — ответил Митькин. — Окружаем поменьку.

Отойдя в угол, он закурил, жадно и глубоко затягиваясь. Потом вместе с новым своим товарищем он стоял перед лейтенантом, выслушивая указания.

— Долóжите на словах, — говорил Горбунов. — Залегли на восточной окраине. Противник готовится к контратаке, которая может начаться каждую минуту. По дороге попытайтесь узнать поточнее, сколько немцев засело в роще. Долóжите и об этом...

Он помолчал секунду.

— Не выполнив приказ, назад не возвращайтесь.

Он отошел к стене и снова стал смотреть в пролом. И так, немцы каким-то образом перерезали его связь с тылом. «Надо спокойно все обдумать», несколько раз повторил про себя Горбунов. Но, в сущности, положение, в котором он оказался, не нуждалось в долгом обдумывании. Как и всякое безвыходное положение, оно было поразительно ясным.

— Пошли, что ли, — сказал Митькин.

У двери он вдруг повернул и подбежал к Двоглазову.

— Земляк, ты мой адрес знаешь, — быстро зашептал он, — в случае чего, напиши жене: пал на боевом посту. Так и напиши: пал на боевом посту. Запомнишь?

— Сделаю, — сказал Двоглазов.

— Ну, бывай! — сказал Митькин.

Он торопливо затоптал окурок и выскочил за порог.



Маша слабела, но не замечала этого. Больше всего ее огорчало, что она выбыла из строя в самую неподходящую, как ей казалось, минуту. Она чувствовала себя виноватой перед Румянцевым, который вместо нее возился с ранеными. Прерывисто и хрипло дыша, силясь подняться и сердясь на собственную слабость, она говорила безумолку. Она обращалась к раненым и утешала их. Сержанту она давала советы, как лучше накладывагь перевязку и как действовать, чтобы не причинять излишней боли. На просьбы лежать спокойно Маша не отвечала.

— К каждому свой подход должен быть, понимаешь, Румянцев... Бывают раненые пассивные, эти сразу падают духом. Бывают энергичные, они не дают с собой ничего делать... Бывают стонущие... нестонущие... И ко всем разный подход надо иметь.

— А послушные бывают? — спросил Румянцев.

— Бывают растерянные... — сказала Маша.

Румянцев закрыл окно досками от шкафа и приказал заткнуть щели соломой. Сопровождаемый бойцом, державшим электрический фонарик, сержант переходил от одного раненого к другому.

— Сто граммов, браток! Для здоровья! — говорил он, становясь на колени и протягивая санитарную флягу с водкой. — Сам бы выпил, да не полагается...

Узкий луч фонарика освещал его маленькое безбровое лицо с глубоко посаженными умными глазами. Он был весь в крови, и даже лицо его было измазано, потому что он утирался руками.

— Порядок! — объявлял он, закончив перевязку, и прикрывал раненого полушубком.

Если кто-нибудь начинал кричать и вырываться, на помощь сержанту приходила Маша.

— Ну, потерпи, потерпи, — говорила она из своего угла, — ой, какой невыдержанный! — Маше нехватало воздуха, и голос ее срывался. — Подумай лучше, как после войны... мы с тобой хорошо жить будем.

Когда все пять человек были перевязаны, Румянцев вытер руки о полу халата и достал кисет.

— Теперь и покурить можно, — сказал он.

Маша окликнула его и попросила воды. Она давно хотела пить и терпеливо ждала, когда Румянцев освободится. Сержант принес снег в котелке, и Маша с наслаждением глотала легкие холодные хлопья.

— Лучше, чем ситро, — сказала она улыбаясь.

Румянцев присел и закурил.

— Досада какая! — сказала Маша. — В самый горячий момент — и сдала... Пришлось тебе за меня отдуваться.

— За тобой будет, — весело сказал Румянцев. — Встанешь на ноги, разочтемся. Только я меньше пачки легкого табаку не возьму.

— Что ты меня успокаиваешь, — ласково упрекнула Маша. — У меня же пневмоторакс, — отдельно выговорила она трудное слово.

— Что ж такого, — сказал Румянцев, затаился и выпустил дым.

— Чудак тоже!.. — сказала Маша. — С такой раной и в госпитальных условиях не часто выживают. — В ее тоне все время было чувство превосходства специалиста над профаном, чувство, заставлявшее ее о собственной ране говорить, как о чем-то постороннем.

— Я не доктор, — сказал Румянцев, — но от такой раны не умирают. Это я тебе говорю.

— Эх, Румянцев, — прошептала Маша, — что ты со мной говоришь, как с пассивным бойцом... Я же ни чуточки не боюсь...

Мысль о смерти действительно не испугала ее. И хотя Маша сказала себе, что может умереть, она в глубине своего существа еще не верила этому. Она испытывала даже странный интерес к новому состоянию, словно рассчитывала наблюдать за собой и после того, как все кончится. Она задумалась и помолчала.

— Жаль немного, — сказала она вдруг тихим и каким-то новым голосом: — не услышу я про нашу победу.

— Не скучай, Маша, поспи часок, — сказал Румянцев.

Он встал, выключил фонарик, потому что надо было экономить батарейку, и вышел. Маша осталась лежать в темноте. Подобно другим людям, умиравшим на земле сражений, она подумала о том, как по Красной площади будут проходить возвращающиеся после победы войска и Сталин выйдет встречать их. Как и многие, она загрустила, поняв, что ей не придется шагать вместе со своими товарищами, одетыми в полинялые гимнастерки. Вдруг Маше показалось, что ее куда-то уносит, покачивая и кружа, как в лодке. Она почувствовала тошноту и закрыла глаза. Потом она потеряла сознание...

Горбунов побывал в окопах и осмотрел разрушения. Он приказал вырубить в промерзших стенках ниши, чтобы там укрываться. Наблюдение за противником он нашел недостаточным и распорядился усилить его. Затем он решил развести костер во дворе школы, огражденном полуразбитыми постройками. По очереди люди могли ходить туда греться. Он переползал из окопчика в окопчик, выслушивая людей, и отдавал нужные приказы. Лейтенант понимал, что все его усилия только отодвигали неизбежную развязку, но сидеть и в бездействии ждать сигнала он не мог. Кроме того, эта вызванная им привычная для бойцов деятельность придавала видимость целесобразности затянувшемуся перерыву в атаке. Занятые

работой, люди меньше чувствовали опасность своего положения.

Горбунов не думал о Маше, пока ползал в окопах, но его тяготило смутное ощущение чего-то очень печального, что уже произошло. Неясное сознание беды, еще не названной, но уже совершившейся, не покидало лейтенанта. Горбунов вошел в школу, поднял солому с пола и машинально стал смахивать снег с валенок. Подошел Румянцев, и, взглянув на него, лейтенант вспомнил о Маше.

— Устроили раненых? — спросил Горбунов.

— По возможности, — сказал Румянцев. — В госпитальных условиях было бы, конечно, лучше.

Лейтенант и Румянцев прошли в класс, к раненым. Румянцев засветил фонарик и стал водить лучом по соломе. В светлом круге одна за другой появлялись человеческие фигуры. Они лежали или сидели. У некоторых были закрыты глаза, другие шурлились, ослепленные светом. Усатый человек с блестящим от пота лицом перестал стонать и натянул на голову маскировочный халат, как бы желая остаться наедине со своим страданием.

— Мучается человек, — шепнул сержант Горбунову. — А помочь нечем...

Маша лежала у самой стены. Лицо ее с опущенными веками было совсем белым, таким же белым, как и волосы, покрытые инеем. И хотя ничего не изменилось в чертах этого лица, оно показалось лейтенанту чужим, может быть более красивым, но уже не принадлежащим живому человеку. Руки девушки были протянуты вдоль тела. Большие новые валенки высывались из-под халата, неподвижные и симметрично сложенные, как на складе.

Горбунов подумал, что Маша умерла. Он вспомнил вдруг, как два месяца назад впервые увидел ее, и нехитрая история их знакомства разом предстала перед Горбуновым.

По осенней, растворившейся в дождях улице прифронтовой деревни быстро шла, перепрыгивая через лужи, девушка в ватной куртке. Руки ее были слегка отставлены в стороны, и девушка слабо поводила ими в ритм своему легкому шагу. Она чуть покачивалась на ходу, словно на невидимых волнах силы и свежести, несших ее вперед. Она улыбалась, думая о чем-то своем. Лейтенант обернулся, проводил девушку глазами и двинулся своей дорогой, досадуя на себя и за то, что посмотрел ей вслед, и за то, что не пошел за нею. Потом он встретил девушку в санчасти полка. Он узнал, как ее зовут, узнал, что в армию она пошла добровольно, что латыни она не знает, но зато хорошо бросает гранату, что она хотела стать разведчицей, но ее почему-то не взяли. В заключение она попросила подарить ей немецкий офицерский парабеллум. Через несколько дней Горбунов принес ей трофейный браунинг. Маша повертела маленький револьвер в руках и сказала: «Женское оружие... в штабах все машинистки носят». — «В следующий раз я подарю вам гаубицу», сказал обиженный Горбунов. Он смотрел на ее круглое лицо с утиным носиком, на влажные ровные зубы и думал о том, что, в сущности, Маша похожа на многих других девушек. Он недоумевал, что заставляет его испытывать особенное удовольствие при виде Маши и смутно досадовать, не встречая ее на медицинском пункте. Потом девушка была прикомандирована к его подразделению. Горбунов видел теперь ее чаще, но положение обязывало его держаться более официально. Однако, когда он представлял себе свою будущую жену, она была похожа либо на красивую киноактрису из последнего виденного им фильма, либо во всем напоминала Машу. Даже голос у жены был такой же тоненький, музыкальный, почти детский.

Все это вспоминал лейтенант, глядя на белую голову

девушки, неподвижно покоившуюся на соломе в круглом луче фонаря. Вспомнил не в стройной последовательности встреч, разговоров, событий, а в мгновенном ощущении неожиданных размеров своей утраты. Боль, которую он почувствовал, была знаком внезапного опустошения. Он жалел в эту минуту не молодую девушку, не своего санинструктора, храброго и милого товарища, — он терял то, что незаметно жило в нем самом и с чем расставаться поэтому было особенно трудно.

— Умерла? — сухо спросил лейтенант.

— Дышит, — сказал Румянцев.

Только теперь Горбунов заметил легкий пар, вылетающий из полуоткрытого рта девушки.

— Помрет, — сказал Румянцев: — большая потеря крови.

— Надо что-нибудь сделать, — сказал Горбунов.

— Что тут делать, — сказал сержант. — В госпитальных условиях, может быть, и сделали бы...

Он поднял Машину медицинскую сумку и стал в ней рыться. Он доставал одну за другой склянки с таинственными надписями, задумчиво разглядывал их и клал обратно. Извлек шприц, осторожно потрогал иголку, посмотрел на свет резервуар и опять уложил в вату. Он долго рассматривал коробку с ампулами, наполненными густой желтоватой жидкостью, и Горбунов с неясной надеждой следил за ним. В прозрачных пузырьках, которые держал сержант, светила волшебная сила исцеления и жизни. Надо было только добыть ее из хрупкой скорлупы. И, может быть, Румянцев — храбрец и герой, искусный слесарь, удачник, человек, умевший делать все — способен был постигнуть ее секрет. Бывают же вдохновенные усилия, когда невозможное оказывается доступным, чудесное становится явью. Но Румянцев аккуратно закрыл коробку с ампулами и положил

на дно сумки. Он достал оттуда белую бутылку со стеклянной пробкой, прочитал надпись и уверенно объявил:

— Иод.

Горбунов хмуро посмотрел на сержанта, повернулся и пошел из класса: Маша умирала, и он был бессилен помешать этому. Он прикрыл за собой дверь и оглядел темную промерзшую комнату с овальным проломом в стене. В углу тихо разговаривали люди. Горбунов постоял и сел на солому. Наблюдатель ничего не доложил ему — значит, сигнала к атаке не было. Лейтенант подумал, что если б атака началась сию минуту, Маша была бы, пожалуй, спасена. Соединившись с группой Подласкина, он передал бы ее врачу вместе с другими ранеными. Он уже верил во всемогущество этого неизвестного врача, потому что единственный шанс всегда кажется спасительным. Лейтенант вскочил и подошел к пролому. Тоскуя, он смотрел в голубоватый морозный туман. Успех боя и жизнь людей зависели сейчас от одного и того же. Он испытывал томительное нетерпение. Не в силах победить его, Горбунов стал прохаживаться, как человек, ожидающий на перроне прибытия поезда, застрявшего где-то на последнем перегоне. Положив руки на автомат, белый от мороза, лейтенант ходил от пролома к двери и обратно. Вдруг он заметил, что красноармейцы, беседовавшие в углу, замолчали, внимательно глядя на него. Он медленно прошелся еще раз, потом повернул и сел на свое место у стены.

Горбунов как-то очень отчетливо почувствовал себя одиноким. Все люди, находившиеся здесь, видели в нем опытного боевого командира, с которым охотно шли на любые рискованные дела. В случае успеха ему по праву принадлежала главная заслуга. В трудные минуты на него смотрели с надеждой. Каждый его жест, его интона-



ция, манеры, настроение тщательно комментировались многими людьми. «Лейтенант нервничает», могли сказать бойцы. И это было бы дурным признаком. «Лейтенант весел», отмечали они, и, значит, все обстояло благополучно. Уверенность командира была как бы общим достоянием, и потому он не мог ее терять. Но ему-то не у кого было, казалось, почерпнуть необходимое всем спокойствие. И хотя красноармейцы верили в твердость его характера, вера эта была необязательна для самого Горбунова. Она много требовала от него и мало помогала. Рядом не было даже Ивановского, с которым лейтенант мог хотя бы посоветоваться. Заместитель по политчасти, раненный в начале боя, находился уже в тылу. Горбунов один должен был принимать решение. Его воля, как воля всякого единоличного командира, подвергалась сложному испытанию, но никому из окружающих не следовало об этом догадываться.

Горбунов сидел, положив руку на согнутое колено, и неторопливо курил. Он снова думал о капитане Подласкине, перебирая в уме все возможные причины его опоздания. И так как Горбунов выполнил свою часть задачи, он не находил никаких извинений для другого. Он злился и ненавидел сейчас этого незадачливого капитана, единственного виновника неминуемой общей неудачи.

Горбунов докурил папиросу и медленно раздавил на полу окурок. «Помехи бывают, — подумал он, — но приказы, черт возьми, надо выполнять!..»

К лейтенанту подошел Румянцев.

— Товарищ командир, — сказал сержант, — прошу назначить меня для эвакуации.

— Для эвакуации? — спросил Горбунов.

— Раненых доставить на медпункт — Рыжову и Семенихина.

— На медпункт? — сказал Горбунов.

— Четырех бойцов думаю взять за санитаров. Поспеем вернуться к самой обедне.

Горбунов посмотрел на Румянцева светлыми холодными глазами.

— Нет, — сказал лейтенант. — Не разрешаю.

— Понятно, — сказал Румянцев, хотя ничего не понимал. — Прикажете назначить другого?

— Не надо, — сказал лейтенант.

Румянцев не предложил ему ничего утешительного. Лейтенант сам уже думал, как вынести отсюда раненых, но вынужден был отказаться от этой мысли. Чтобы пробиться сквозь огонь засевших в роще автоматчиков, четырех человек нехватило бы. Видимо, недостаточно было и десяти. Горбунов не знал, какие силы немцев проникли к нему в тыл, и дробить свой небольшой отряд он не имел права.

— Наша задача — выбить из деревни фрицев, — сказал Горбунов. — Отложим эвакуацию на час или на два.

Он подумал, что пока Маша была здорова и он видел ее каждый день, он не спешил разобраться в своем отношении к ней. Оно стало понятным теперь только для того, чтобы увеличить горечь и томление этих часов.



Немцы опять начали обстрел. Первые мины упали за школой, метрах в пятидесяти. Четыре ослепительно белых взрыва одновременно блеснули в туманном воздухе. Снег, перемешанный с дымом, взвился косым вихрем. Потом все услышали дробный стук осыпающейся земли. Следующие мины упали ближе, но несколько в стороне. Они рвались по четыре в ряд, то позади школы, то перед ней, с одинаковыми интервалами между залпа-

ми. Разрывы приближались к окопам, охватывая их запахом сгорающей взрывчатки. Лейтенант снова полз по линии своих укреплений. Он задерживался возле бойцов, лежавших в снегу, и что-нибудь говорил о противнике, который, может быть, и сунется сюда, но назад уже не уйдет. Командирам отделений он еще раз повторил: стоять на месте и, если фрицы атакуют, уничтожить их. Часть людей он приказал перевести в школу, под укрытие стен. Мины ложились все ближе. Слыша очередной нарастающий скрежет, люди вжимались в снег, и некоторые закрывали глаза.

Горбунов вернулся в школу. Немцы отодвинули свою батарею, ее нельзя было обнаружить, и лейтенант приказал не открывать огня. Он сидел на соломе, прислонясь спиной к стене и поджав под себя ногу. Наружно он был невозмутим и, когда к нему обращались, отвечал спокойно и тихо. Но все, что он видел и слышал, воспринималось им сейчас с какой-то чрезмерной отчетливостью и требовало молниеносной реакции. Он с трудом заставлял себя говорить неторопливо. Время от времени он без надобности поправлял ремень автомата. Заметив, что делает это слишком часто, он опустил руки и сжал кулаки. Он старался не думать о том, как хорошо было бы, если б атака происходила точно по плану, и это ему почти удалось. Горбунов приказал перебросить ручной пулемет на фланг своей позиции, который казался недостаточно обеспеченным. Затем он распорядился, чтобы пулеметчики сейчас же установили прицельные ориентиры на случай появления немцев и пристреляли их. Но за всеми этими мыслями жила другая, вытесненная из сознания, но как бы перешедшая в кровь и мускулы, сводимые бесполезным напряжением. Она стояла словно позади других мыслей, нависая над ними тенью, окрашивая их в свой цвет. Сигнала к общей атаке попрежнему не было,

и хотя Горбунов убедил себя, что ждать ракеты больше не имеет смысла, он только пытался обмануть ставшее непосильным ожидание.

Мины падали через правильные промежутки времени. В паузах лейтенант слышал негромкий разговор. Луговых, Двоглазов и Кочесов сидели неподалеку и беседовали, не обращая особенного внимания на огонь врага.

— Махорка кончилась, вот беда, — сказал Луговых.

Двоглазов достал из кармана коробку немецких сигар, с треском разорвал целлофан и шикарным жестом протянул нарядную коробку товарищам.

— Прошу, — сказал он.

Бойцы закурили. Они удобно сидели, перебрасываясь словами, но не делая лишних движений, научившись, как и большинство старых солдат, ценить каждую минуту покоя.

— Крепкие! — одобрительно сказал Луговых.

— Гаванна, — отозвался Двоглазов.

— Сейчас бы шей горячих, — сказал Кочесов.

— Обеда сегодня не будет, — объявил Двоглазов.

— Завтра подвезут, — сказал Кочесов.

— А завтра, возможно, меня не будет, — заметил Двоглазов.

Совсем близко прогремели четыре разрыва. От вспышек на секунду стало светлее, и бойцы почувствовали на своих лицах порывистое движение воздуха.

— Нащупывает, — заметил Кочесов.

— Слышали вчера сводку Информбюро? — спросил Луговых. — На нашем фронте идут наступательные бои.

— Так и есть! — произнес Кочесов.

— Правильно, — подтвердил Двоглазов.

Он щелчком смахнул пепел и снова вставил сигару в рот.

Худое лицо Двоглазова с живыми, веселыми глазами окуталось плавучими волокнами дыма.

— Как у тебя на родине, Кочесов, — спросил Луговых, — сильные морозы бывают?

— Морозы у нас послабей, — ответил Кочесов. — Жара зато большая.

— Выходит, у тебя, Луговых, одна родина — с морозом, а у Павла другая — с жарой, — сказал Двоглазов. — Неправильно это... В отношении родины климат большого значения не имеет.

— Как так? — спросил Луговых.

— В отношении родины советская власть значение имеет, — пояснил Двоглазов.

Ударили новые разрывы, и с потолка на бойцов посыпалась штукатурка. Люди помолчали, втянув головы и прислушиваясь.

— Климат бывает разный, — сказал Двоглазов, — согласно законов природы... А счастье человеческое по всему Советскому Союзу живет... Вот, выходит, какая у тебя громадная родина!..

Снова прогремели разрывы, и снова бойцы прислушались.

— Любопытно, что сейчас моя Таня делает, — произнес Двоглазов.

— Время позднее — спит, — сказал Луговых.

— Может быть, и спит, — тихо сказал Двоглазов, — и ничего не чувствует... А я тут под огнем сижу...

— Как же она может чувствовать? — заметил Луговых. — Я с семьей переписку имею, — продолжал он. — Я жене все зверства фрицев описал. И в каждом письме она требует от меня все больше энергии для уничтожения гадов. Очень настроилась против фашизма!

В класс вбежал боец и доложил Горбунову, что два человека ранены.

— Опротивел мне немец! — сказал Двоглазов.

Четыре оглушительных разрыва потрясли стены. Бойцы разом прилегли, словно придавленные сверху. Сладковатый дым вполз в пролом и медленно таял.

— Запоминающаяся ночь, — сказал Двоглазов, поднимая голову. Затем он разыскал свою выпавшую сигару, поднял и заботливо осмотрел ее.

— Нашупали-таки, — заметил Кочесов.

— По профессии я лепщик, — сказал Двоглазов. — Когда победим, где-нибудь воздвигнут памятник победы. Если останусь жив, обязательно приму участие в строительстве.

В комнату к Румянцеву принесли раненого. Второй шел сам, держа перед собой окровавленную руку. Потом два бойца внесли и положили на пол связанного Митькина.

Они видели, как Митькин полз из роши, оставляя за собой длинный темный след. Он передвигался на боку, загребая одной рукой и помогая ногами, повторяя все время одни и те же движения. Когда на пути встречался сугроб или поваленное дерево, Митькин не сворачивал, а переползал через них, хотя это и требовало больших усилий. Казалось, он просто не видел препятствий и преодолевал их, не отдавая себе в этом отчета. Но методически, с каким-то слепым постоянством он выбрасывал руку, подтягивался на локоть, снова цеплялся за снег и перетаскивал себя на несколько сантиметров. Полз он очень медленно. Бойцы поняли, что человек ранен, и поползли к нему навстречу.

Когда Митькина клали на плащ-палатку, он слабо, но внятно сказал:

— Где лейтенант? Приказ у меня.

Он вздохнул и сразу обмяк. Он был ранен несколькими пулями, истекал кровью, и казалось удивительным, что он мог сюда доползти.

Митькин умирал. Его глаза были открыты, и в них стояло выражение не боли, а непереносимого физического томления. Он пошевелил губами, и Горбунов приложил к ним свое ухо.

— Приказ... — не прошептал даже, а выдохнул Митькин.

— Я здесь! — сказал Горбунов. — Говорите!

Но Митькин уже ничего не слышал. Он медленно повернулся на бок, и его здоровая рука протянулась вперед. Дыхание его стало реже. Каждый глоток воздуха, который он хватал, комком проходил в горле и судорожно распирает грудь. Перерывы между дыханием делались все длиннее, и после каждого вдоха бойцы ждали, наступит ли следующий. Они ждали и после того, как Митькин перестал жить и его дыхание прекратилось навсегда. Солдат лежал на боку, вытянув руку и упершись в землю ногой, словно все еще полз, унося с собой недоставленный приказ.

Тело Митькина отнесли к стене и прикрыли плащ-палаткой. В карманах у него пакета не нашли — приказ, видимо, был передан на словах. Горбунов отошел к пролому и молча смотрел на юго-запад. Связной вернулся, выполнив поручение, но Горбунов попрежнему ничего не знал. Может быть, его отряду предписывалось даже отойти, но теперь это не имело значения, и он должен держаться. Горбунов вдруг заметил, что леса за деревней больше не видно. Падал снег, редкий, медленный, и линия домов на краю оврага полурастворилась в сером воздухе.

Немцы усилили огонь, и разрывы следовали теперь один за другим: повидимому, неприятель ввел в бой новую батарею. Потери быстро увеличивались, было уже несколько убитых. Горбунов стал на колени и смотрел в щель между кирпичами. Он забыл о том, что полчаса

назад убедил себя не ждать больше сигнала атаки. С каждой минутой росло количество выбывших из строя, и только красная ракета, казалось ему, могла спасти остальных. Если враги снова овладеют восточной окраиной деревни, не будет иметь успеха и запоздалая атака Подласкина. Немцы перебросят все свои огневые средства на юго-запад, и деревня останется в их руках. Бой, потребовавший таких усилий и стоивший жертв, окажется проигранным.

Кто-то опустился на колени рядом с лейтенантом. Горбунов обернулся и увидел Румянцева. Мокрыми руками сержант утирал вспотевшее лицо, оставляя на нем темные пятна.

— Как у тебя? — спросил лейтенант.

— Рыжова дышит! — закричал Румянцев.

— Как раненые, спрашиваю? — крикнул лейтенант.

— Перевязок нет, — ответил Румянцев.

— Рвите рубахи, — приказал лейтенант.

— Ну, я побежал, — сказал Румянцев.

Он ползком добрался до двери. Стены школы дрожали от разрывов. Воздушные волны били иногда в пролом, лейтенанта валило на бок, и снег засыпал глаза. Горбунов протирал их и снова смотрел в узкую щель. Он уже никого не обвинял в том, что ракета опаздывала. Сейчас важно было, чтоб она все-таки загорелась.

Командир второго отделения с трудом добрался до школы. Он падал, поднимался и полз по земле, вздрагивавшей от мгновенных судорог. Засыпанный снегом Медведовский показался на пороге и, пригибаясь, перебежал к Горбунову. Став на колени, он прокричал:

— Товарищ лейтенант, таем!

Горбунов посмотрел на искаженное криком черное лицо с потрескавшейся кожей на губах. Он обнял Мед-



ведовского за шею и привлек его голову к себе, словно хотел поцеловать.

— Дрейфите! — закричал он, и злые глаза его потемнели. — Зарыться в землю и стоять!

Командир второго отделения потянулся губами к уху лейтенанта, как будто шептал ему по секрету.

— Мои выстоят! — крикнул он и, согнувшись, побежал вдоль стены к выходу.

Немцы ввели в действие артиллерию, и обстрел достиг уничтожающей плотности. Скрежет, свист и грохот слились в один невыносимый шум. Вспарываемый воздух визжал и ахал, валил людей, отрывал их от земли, швырял в снег. Земля колебалась под распластанными телами, утратив свою устойчивость и свою тяжесть. Подобно газам, она летела вверх, вспыхивала, свистела, сгорала и клубилась. Люди не кричали и не разговаривали, цепляясь за что-то, бывшее землей. Иногда они взглядывали друг на друга остановившимися, сосредоточенными глазами и отворачивались, потому что видели в глазах одно и то же ожидание. Оно делало людей странно похожими друг на друга. Но люди эти были русскими солдатами и потому выполняли свои обязанности, даже когда это казалось невозможным. Связные переползали из окопа в окоп, командиры знаками отдавали распоряжения. Наблюдатели разгребали снег, засыпавший их, и снова смотрели.

Красной ракеты не было, и Горбунов понимал, что защитники рубежа действительно тают. Он испытывал ярость. Мышцы его напряглись, как у человека, готовящегося к прыжку, и челюсти были стиснуты до скрипа. Как в детстве, когда Горбунову казалось, что событиями можно управлять одной силой большого желания, он весь сосредоточился в требовательном «хочу». Он просил, ждал и приказывал. Он физически ощущал это свирепое

усилие своей воли. Но в непроницаемом сером тумане на юго-западе сигнала не появлялось. Горбунов услышал, как стучит его сердце. Не в силах больше сдерживаться, он вскочил и выпрямился. В то же мгновение страшный грохот потряс здание. Лейтенанту показалось, что на голову ему рушится потолок. Снаряд угодил в верхний этаж школы, и на Горбунова посыпались штукатурка, мусор, песок.

Канонада разом прекратилась. И в наступившей удивительной тишине прозвучал торопливый голос наблюдателя:

— Немцы пошли в атаку!



Медленно падал снег. В его однообразном сером мелькании Горбунов различил неясные темные фигурки. Они скользили по склону оврага, и сверху, из сумрачной ряби, выделялись новые разорванные вереницы теней.

— Многообещающая картина, — сказал Двоглазов, устраиваясь с автоматом у пролома.

Горбунов почувствовал облегчение. Он твердо знал, что теперь надо делать. Он мог не думать больше ни о чем другом, потому что все заслонили сейчас эти приближающиеся бесплотные силуэты. Не оборачиваясь, он крикнул:

— По фашистским оккупантам...

И, сделав паузу, рассчитывая наивыгоднейшую дистанцию, закончил:

— ...огонь!

Больше ничего не было слышно в дробном грохоте автоматов. Люди стреляли, припав к подоконникам. Комната озарялась прыгающим, лихорадочным светом, словно десяток слепящих ламп раскачивался и мигал,

выхватывая на мгновение из темноты прищуренный глаз, небритую щеку, потолок с обнажившимися балками, щебень и солому под ногами. Рядом с Двоглазым стреляли из пролома Луговых и Кочесов. Серые дымки поднимались к потолку.

Горбунов побежал наверх. Он еще не знал, какие разрушения произвел там разорвавшийся снаряд. Несколько классов и комната, в которой лежал мертвый учитель, были завалены обломками. Проникнуть туда оказалось невозможным. Пулеметчики, к счастью, не пострадали и уже вели огонь. Сыпались на пол и подпрыгивали горячие гильзы.

— Боеприпас на исходе, — сказал первый номер в перерыве между очередями.

— Дай-ка мне, — сказал лейтенант.

Он стал на колени и поймал в прицел группу из нескольких теней. На щеках под кожей у него заходили мускулы. Он выпустил короткую очередь, и тени исчезли.

— Фашистов нехватит раньше, чем у тебя патронов, — сказал лейтенант поднимаясь.

Он пробрался в крайнюю комнату и из окна увидел всю линию своих окопов. В зыбкой глубине там лежали бойцы, почти невидимые в маскировочных халатах. Но вспышки выстрелов, словно электрические искры, перебежали по ледяной дуге брустверов.

Немцы залегли, и огонь стал стихать. Горбунов спустился вниз и послал Румянцева с приказом командирам отделений внимательно следить за подступами с тыла. Потом он стал обходить бойцов.

— Как дела? — спросил он у Луговых.

— Ничего, — ответил тот, перезаряжая автомат. — Анна Поликарповна будет довольна.

— Жена? — спросил Горбунов.

— Как полагается, — ответил Луговых.

— Жену надо радовать, — сказал лейтенант. — Сильнее любить будет.

— Правильно, — сказал Двоглазов.

Немцы начали стрельбу. Пулеметы прикрытия ударили по стенам школы. Посыпался битый кирпич, и рой невидимых пчел прожужжал в классе.

— Ложитесь, товарищ лейтенант! — крикнул Луговых.

— Пожалуй, — сказал Горбунов.

Он присел за кирпичами и выглядывал оттуда. Немцы опять пошли в атаку. Снова за рябью падающего снега возникли движущиеся расплывчатые фигурки. Пулеметы прикрытия били почти без перерывов. Горбунов опять поднялся в крайнюю комнату — отсюда он лучше видел, что делается на всей позиции. Немцы ползли или перебежали, появляясь на несколько секунд и проваливаясь опять.

Автоматы затрещали позади школы, и Горбунов понял, что фашисты обтекли по оврагу высотку, на которой стояла школа. Теперь немцы штурмовали школу одновременно с четырех сторон. Лейтенант рванулся в соседнюю комнату. За ним перебежали двое связных. Большая темная птица с распластанными крыльями бесшумно вылетела навстречу и повисла под потолком. Горбунов не обратил внимания на птицу, словно ожидал ее здесь встретить. Из окна он увидел, как по пологому склону бежали к школе враги. Они были уже в тридцати-сорока метрах. Горбунов сунул автомат на переплет окна. Он уже ничего не помнил. Он видел только эти темные фигуры, мелькавшие в колечке прицела. Он стрелял, и каждая пуля была как бы частицей его самого, отделявшейся и поражающей врагов. Немцы бежали, подпрыгивали и валялись. Некоторые медленно опускались на снег, другие пробегали, шатаясь, несколько шагов и тоже падали.

Связные стреляли с колена. Неожиданно диск опустел, и, выругавшись, лейтенант переменял его. Но стрелять уже не пришлось. Прорвавшаяся группа была уничтожена. Горбунов обернулся, словно ожидая нападения сзади. Только теперь он заметил птицу, летавшую наверху. Он долго соображал, как она здесь очутилась и почему не улетает. Вдруг он рассмеялся, и связные с удивлением посмотрели на командира.

— Чучело, — сказал он громко. — Чучело это.

В комнате, видимо, был раньше зоологический кабинет. Мертвая птица парила под потолком. Непонятные разломанные вещи и битое стекло кучами лежали на полу.

Снег падал все гуще. Колышавшаяся рябь скрыла овраг и деревню. Пользуясь неожиданным прикрытием, немцы сомкнули кольцо и приближались. Горбунов не мог даже воспользоваться ракетами, которые находились в классе, разрушенном снарядом.

— Досиделись мы, — проговорил Двоглазов.

В голосе его не было упрека. Боец только констатировал положение.

Немецкие пулеметы прекратили стрельбу, и наступила тишина, прерываемая редкими выстрелами. Эта одиночная пальба казалась особенно беспокойной. Сотни врагов невидимо приближались отовсюду и каждую секунду могли появиться. Иногда казалось, что в необъятной мгле, обступившей школу, слышен слабый шорох и смутное позвякивание. Оно было едва угадываемым, но зловещим. Людям чудилось неясное движение, со всех сторон направленное к ним из темноты.

— Готовь гранаты, — почему-то шопотом сказал Луговых.

Горбунов спустился вниз и стоял посреди класса, глядя на товарищей. Как и полагалось, они были на местах, стояли или сидели у своих бойниц. Рядом с лейте-

нантом стал Румянцев. Большая, широкая спина Кочесова была согнута. На кирпичах возле него лежали аккуратно разложенные диски и гранаты. Луговых, не поворачивая головы, поправил левой рукой шапку. Двоглазов вытянул шею, вглядываясь вперед; носком валенка он мелко стучал по полу. Солдаты молчали, приготовившись ко всему. В эти минуты, каждая из которых могла стать последней, люди выглядели такими же, как всегда.

Горбунов оглянулся и неожиданно встретился с Румянцевым глазами. Оба они не подумали даже, а почувствовали одно и то же. Земля, на которой они жили, которую трудно было облететь на самолете, сузилась теперь до небольшой площадки этой школы. Они и товарищи их были здесь единственными людьми, потому что друзья не могли притти на помощь, а в непроницаемой тьме, изолировавшей отряд, надвигались многочисленные враги. Люди здесь, по крайней мере многие из них, уже не имели будущего, ибо оно уменьшилось до размеров одного события, подошедшего вплотную. В мире, таком ограниченном в своей протяженности и иссякшем во времени, они, казалось, были одиноки и предоставлены самим себе. Они по-разному ощущали эту одинаковость своего положения, но она с силой толкала их друг к другу. Каждый чувствовал, что все остальные близки ему сейчас в той необходимой мере человеческой близости, которой людям так часто нехватает. Они все стали как бы одним существом. Оно было вдесятеро больше каждого из них, может быть вдесятеро печальнее, но и вдесятеро сильнее. Горбунов побледнел от волнения и закричал, повинуясь непреодолимому и странному вдохновению:

— Товарищи! Над нами развевается красное знамя Родины!

Румянцев сделал шаг вперед, и маленькие глаза его вспыхнули.

— Да здравствует наша советская Родина! — крикнул сержант.

Так они боролись со своим последним одиночеством. И хотя бойцы знали, что красного знамени нет на школе, они словно услышали над собой шелест поднятого и развернувшегося драгоценного шелка.

— Да здравствует Сталин! — крикнул Румянцев.

И на секунду все, кто здесь был, увидели Сталина. Он возник перед их мысленными взорами, спокойный и улыбающийся, как на портретах. Он вошел в разбитый, промерзший класс, чтобы взглянуть на каждого и каждого ободрить. Казалось, перед решающим боем главнокомандующий в серой шинели обходил своих солдат.

— Да здравствует Советский Союз! — крикнул Двоглазов. На худом лице его было неопишное возбуждение.

Глядя друг на друга, солдаты выкрикивали боевые лозунги своей борьбы. Они их часто слышали раньше, но привычные слова гремели и светились сейчас во всей своей первоначальной жизненности. Эти слова не только обозначали содержание человеческой жизни, — они делали ее непобедимой и бесконечной. На маленькой площадке сразу стало тесно. Казалось, шумя и толкаясь, сюда вломился огромный, только что потерянный мир. Родина окружила людей, и конец их, подошедший вплотную, отодвинулся и стал невидим. Будущее снова цело и шумело далеко впереди, гораздо дальше сроков одной человеческой жизни.

— Да здравствует Родина! — кричали солдаты.

Луговых схватил автомат и потряс им в воздухе. Горбунов счастливо улыбался. Из комнаты, в которой Румянцев устроил лазарет, выходили раненые. Они появлялись в дверях, поддерживая друг друга или опираясь





на винтовки. Те, что еще могли двигаться, возвращались в строй, и бойцы давали им место около себя. Высокий парень, прыгавший на одной ноге, опустился на пол рядом с Кочесовым.

— Подвинься, — сказал он так, словно дело происходило в трамвае.

Кочесов отодвинулся, и раненый положил на кирпичи свою винтовку.

— Как тут у вас? — сказал он и щелкнул затвором, посылая пулю в ствол.

Горбунов увидел Машу. Она сидела у двери, привалившись спиной к стене, держась обеими руками за грудь. И хотя было непонятно, как она могла приползти сюда, Горбунов не удивился. То, что совершалось на его глазах, уже не казалось чудом. Страдание и смерть как бы утратили свою власть над его товарищами. Он не изумился бы, если б связной Митькин вышел из темного угла, в задубеневшей на груди шинели, взял автомат и стал у окна. То, что испытывал сейчас Горбунов, было похоже на чудесное освобождение. Словно все страхи и все заботы, сопровождающие человека и уродующие его, отпали, оставив лишь то, что было в нем бесценного, — его любовь, его ненависть, его волю к непрекращающейся жизни. Люди, собранные в этой школе, были разными людьми. Еще днем, в двух-трех километрах отсюда, они отличались друг от друга характерами, привычками, склонностями, успехами или неудачами. Были среди них смелые и робкие, веселые и хмурые, общительные и злые, те, кого любили, и те, кого сторонились товарищи. Но все они сняли сейчас удивительной чистотой и страстью, которые делали их неуязвимыми в равной мере для пули и для зависти, для смерти и для тщеславия. Сейчас не было для людей ничего невозможного, потому что отечество вошло в них. Самый слабый и самый боязливый был таким же,

как все. Но все здесь были героями, ибо Родина создает сыновей по образу и подобию своему.

Горбунов подбежал к Маше. Он наклонился к ней, и девушка тихо сказала:

— Гранату мне...

Лейтенант отстегнул гранату, и Маша взяла ее обеими руками.

— Это я на тот случай... — сказала она.

За стеной дробно застучали выстрелы. В ту же секунду в двадцати шагах от пролома выросли черные фигуры. На груди у них сверкало скачущее пламя. Немцы бежали, стреляя из автоматов. Навстречу им ударил залп. Кочесов выпрямился и швырнул гранату.

— Хватай! — заревел он и сам не услышал своего голоса.

Граната разорвалась под ногами у автоматчиков. В острых стрелках огня мелькнули раскинутые руки, падающие тела. Хлопья снега рванулись вверх и закружились, будто отброшенные землей.

В сумрачной ряби возникли новые фигуры. Они как бы сгушались из темноты и отрывались от нее черными клочьями. Горбунов почувствовал удар в плечо, и его левая рука стала сразу тяжелой. Обжигая губы о холодный металл, он зубами отодвинул предохранитель и бросил гранату так, словно сам хотел устремиться за ней.

Бой шел по всей линии. Немцы почти вплотную подобрались к школе и теперь бросились на нее. Но окруженная со всех сторон высота сверкала в ледяной ночи белым пламенем и клубилась дымом. Казалось, там не было уже людей, но сказочные исполины отбивались от огромной темноты, наваливавшейся отовсюду. Пронизанное светом, сияющее облако стояло над их головами, и в нем трепетали молнии.

Первые ряды атакующих были срезаны. В отодвинувшемся мраке снова никого не стало видно.

Румянцев подошел к Горбунову:

— Дайте перевяжу, товарищ лейтенант.

Горбунов с изумлением посмотрел на сержанта, потом вспомнил, что действительно ранен.

— Сейчас, — сказал он и побежал из класса.

Он хотел посмотреть, что делается в окопах. Он появился на крыльце и вдруг в серой, мутной глубине увидел огонек, крохотный и красный, как рубин. Огонек дышал, разгорался, пламенел, подымаясь все выше, оставляя за собой тонкий розовый след. Горбунов остановился потрясенный: он видел наконец красный огонь на юго-западе! Ракета описала дугу и повисла, словно пурпурный лучистый цветок на сияющем изогнутом стебле.

Горбунов сошел с крыльца и стал перед фасадом школы. Здоровой рукой он зажимал левое плечо. Обернувшись, он скоординировал атаку, и его голос услышали все. Потом, не сводя глаз с красной ракеты и не оглядываясь, он двинулся вперед. Ладонью он чувствовал теплоту, исходившую от его кровоточащего плеча. Он услышал «ура» за своей спиной, сладостное, как музыка, и понял, что это поднялись его солдаты. Он шел вперед, и кричащие люди справа и слева обгоняли его. Цветок, сиявший в небе, внезапно потускнел и осыпался множеством огненных лепестков. Но в ту же секунду ослепительный свет вырвался на юго-западе из мрака и забушевал, разливаясь в стороны. Казалось, упавший огонь поджег море. Бойцы догоняли Горбунова и бежали дальше. Высокий красноармеец поровнялся с лейтенантом. Помогая себе винтовкой, как костылем, боец прыгал на одной ноге, крича и размахивая гранатой. Впереди уже завязалась рукопашная, хлопали выстрелы, и Горбунов ускорил шаг. Группа Подласкина, вероятно, ворвалась в деревню, потому что

огни большого боя неслись навстречу. Они охватывали все видимое пространство, разрывая и гоня перед собой отступающую ночь.

---

...Утром полковник позвонил Горбунову, осведомился о его здоровье и посоветовал отправиться в медсанбат. Он выслушал донесение лейтенанта, ясное и немногословное, как все хорошие донесения.

— Бой был очень удачным, — сказал полковник. — Немцы так увлеклись атакой школы, что Подласкин взял их голыми руками. Общие потери у нас невелики, а немцев вы там навалили дай бог каждому.

Горбунов не чувствовал уже никакой злобы к капитану Подласкину. Командир охватывающей группы действительно, как выяснилось, не в силах был атаковать раньше. Саперы, расчищавшие минные поля на подступах к деревне, выполнили свою задачу в срок. Но уже во время боя были обнаружены новые минные заграждения, закрывавшие выходы из леса. Саперы работали с профессиональной отвагой и с быстротой, беспримерной даже для профессионалов. Подласкин слышал бой, который вел Горбунов, видел горящее небо на востоке и торопил людей, не выпуская из руки ракетницу. Теперь, к удивлению Горбунова, он больше всего по справедливости гордился тем, как было преодолено непредвиденное препятствие. И хотя гордость эта казалась Горбунову мало основательной, она убедила и обезоружила его. Видимо, на месте капитана никто другой не мог бы действовать лучше. Все же воспоминание о недавних часах заставляло Горбунова искать если не сочувствия, то понимания. Как и Подласкину, гордившемуся успехом, лейтенанту было о чем рассказать, в свою очередь. Но говорить о часах ожидания с полковником, управлявшим в эту минуту большим наступлением своих частей, казалось неловким и мелким.

Горбунов заметил только, что временный перерыв связи сделал для него общую обстановку неясной.

— Как это неясной? — сказал полковник. — Раз ты занял пункт, значит надо держать его намертво. А врагов, где бы они ни появились, надо бить. Никакой неясности в этих вопросах я не допускаю...

Горбунов был согласен с командиром. Бой закончился успешно, и теперь даже самому Горбунову все казалось иным, чем ночью, более простым и сравнительно нетрудным.

— Засиделся Подласкин на минных полях, — сказал полковник. — Это бывает... Но получилось так, что капитан напоролся на мины, а немцы напоролись на тебя... В общем, даже удачно получилось... Ну, отдыхай, Горбунов. Автоматчиков в роще мы ликвидировали. Передай благодарность личному составу.

Полковник, судя по голосу, был в хорошем расположении духа. Его части быстро продвигались, и бой шумел уже далеко за деревней.

Горбунов, придерживая перевязанную руку, вышел из избы. За оврагом, на невысоком холме, он увидел школу. Был бессолнечный, хмурый день. Полуразбитое здание темнело пустыми окнами и большим овальным проломом в кирпичном фасаде. Снег, выпавший за ночь, прикрыл следы боя.

Лейтенант зашагал по улице, думая о том, что ему надо сегодня же написать матери. Потом он подумал, что хорошо бы отправить ей посылку. Мимо прошли две женщины с заплаканными счастливыми лицами. Женщины восторженно глядели на лейтенанта, и он улыбнулся им. Он увидел Кочесова и Двоглазова. Бойцы тащились навстречу с котелками и с буханками хлеба в руках. Лейтенант остановился. Ему хотелось сказать этим людям что-то очень хорошее и сильное.

— Заправляться идете? — спросил он, хотя это не вызывало сомнений.

— Точно, товарищ лейтенант, — ответил Двоглазов. Лицо у него было серое, как пепел.

Лейтенант и бойцы стояли, сдержанно улыбаясь друг другу и стесняясь слов. Подошел Румянцев и доложил, что сани готовы. Надо было ехать в медсанбат. Лейтенант не думал оставаться там, но ему хотелось проведать Машу Рыжову. При воспоминании о ней Горбунов снова почувствовал беспокойство. Когда Машу увозили, она была в сознании и даже требовала, чтобы ее эвакуировали последней. «Напористая девушка, — подумал лейтенант. — Отлежится».

Сани выехали за деревню, и Горбунов оглянулся. По улице ходили бойцы в грязных халатах. Он подумал, что сегодня же надо похлопотать о выдаче новых халатов его людям. Рука у Горбунова болела, и он морщился при каждом толчке. На повороте он еще раз увидел красную школу с пустыми черными окнами. Потом дорога спустилась в овраг, и школы не стало видно.



## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
<i>Э. Казакевич. Звезда . . . . .</i>	3
<i>Ю. Капусто. Наташа . . . . .</i>	103
<i>Г. Березко. Красная ракета . . . . .</i>	261

## К ЧИТАТЕЛЯМ

*Издательство просит отзывы об этой  
книге присылать по адресу: Москва,  
М. Черкасский пер., д. 1, Детгиз.*

## ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Ответственный редактор Е. Бобрышева.  
Художественный редактор Б. Дехтерев.  
Технический редактор Г. Белинский.  
Корректоры А. Враныч и Р. Мишелевич.  
Подписано к печати I/VII - 1949 г. 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> л. л.  
(13,32 уч.-изд. л.) 27764 экз. в печ. л. А 07371.

---

Отпечатано в типографии № 7-1 с матриц  
Ф-ки детской книги Детгиза. Москва.



